АЛЕКСАНДР ВОИН

Философическая проза

Александр Воин

Философическая проза

«Издательские решения»

Воин А.

Философическая проза / А. Воин — «Издательские решения»,

Ядро книги составляют автобиографические рассказы, основанные на опыте пребывания автора в израильской тюрьме. Рассказы сочетают в себе драматическую основу с философскими идеями и взглядами автора, что делает органичным их сочетание в одной книге с эссе и философскими этюдами.

© Воин А.
© Издательские решения

Содержание

Философическая проза 6
Рассказы 7
Благородство 7
Первая камера 21
Тюремный учитель 31
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Философическая проза
Александр Воин

© Александр Воин, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Философическая проза

Аннотация

Ядро книги составляют автобиографические рассказы, основанные на опыте пребывания автора в израильской тюрьме. Рассказы сочетают в себе драматическую основу с философскими идеями и взглядами автора, что делает органичным их сочетание в одной книге с эссе и философскими этюдами.

Рассказы

Благородство

Одно время на Западе были популярны фильмы – триллеры с похожим сюжетом. Во время прогулки заключенных во дворе супперохраняемой тюрьмы появляется вертолет, неожиданно он садится, летчик огнем автомата разгоняет выбежавшую охрану, подхватывает своего друга – заключенного и взмывает с ним в небо. До того, как я попал в израильскую тюрьму, я видел по телевизору несколько таких фильмов и мне и в голову не приходило, что сюжет не выдуманный. И уж тем более не приходило в голову, что мне придется лично познакомиться с героями этой истории да еще при столь неординарных обстоятельствах.

Мы познакомились на прогулочном дворе в так называемых «иксах». «Иксы» – это одна из морилок в рамльской тюрьме, не самая страшная, но более других окутанная аурой страшности и таинственности. Представляли они из себя одиночки, в которые, однако, сажали и по два человека, ибо там, где есть место одним нарам, можно соорудить над ними и вторые. Расположены они были в сыром и мрачном подвале с узкими щелями под потолком вместо окон и спертым, затхлым воздухом. Когда-то тут сидел один зэк, фамилии котого никто не знал, т.к. она вместе с его делом и самой его личностью держалась тогда в секрете от всех, тем более от любопытных прохиндеев зэков. Никто из них никогда его не видел, хотя знали, что вот там в камере сидит этот таинственный, которого и на прогулку выводят не просто одного, но на особый микродворик, куда не выходит окнами ни одна камера, и ведут его так, чтоб, не дай Бог, никто из зэков случайно не встретился. В общем мрак, жуть, «железная маска», мистер Икс, ну и «иксы».

Ко времени моей отсидки, правда, тайна эта уже была раскрыта. Связана она была с безопасностью, еще точнее с разведкой.

Икс был израильский агент а Аргентине, основной задачей которого была организация выезда оттуда евреев. Впрочем, может быть еще и охота за прячущимися там фашистами. Но вместо этого (или в свободное от основной работы время) он, согласно обвинению, «замочил» одного очень богатого еврея и присвоил его денежки. И это, почему-то, дурно отразилось на желании аргентинских евреев ехать в Израиль. Само собой Израиль не был заинтересован в огласке этого дела ни внутри, ни вне страны. Икса аккуратно выкрали другие агенты и доставили в Израиль, где он превратился в таинственного и интригующего зэков узника лет на 20 и заодно дал имя упомянутой морилке, которое так и осталось за ней и после его освобождения и публичного раскрытия его имени и всего дела.

В «иксы», несмотря на их зловещую славу, я попал по собственному желанию. Дело в том, что в это время был в самом разгаре мой процесс, а защищал себя, даже официально, наполовину я сам – мне было разрешено самому вести перекрестный допрос свидетелей обвинения (что сыграло немаловажную роль в результатах процесса, но об этом в другой раз). Неофициально же это был как раз той случай, когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Сему предшествовало то, что моя изначальная адвокатша доктор Эдна Каплан, одна из примадонн израильской адвокатуры, «кинула» меня как наперсточник фраера на базаре. Вначале она уверяла меня, что верит в мою невиновность и будет защищать меня от всего сердца, а не по одному лишь профессиональному долгу, затем, когда я не согласился на предложенную мне через нее сделку с судом (есть такая практика в израильском судопроизводстве, но об этом тоже в другой раз), она попросила меня дать ей освобождение, что я и сделал. После этого она не вернула мне денег, заплаченных ей за процесс наперед, хотя процесс в тот момент еще не начался. В результате я остался без денег на нового адвоката и не доверяя пра-

вительственному, требовал права защищать себя самому. Суд принял соломоново решение: назначил мне правительственного, кстати неплохого парня и неплохого адвоката, но не уголовного, а гражданского, ну, и как я сказал, разрешил мне самому допрашивать свидетелей обвинения. Слава Богу мой адвокат хоть не гадил мне специально, но руководить защитой, в том числе его действиями приходилось мне самому. И мне нужно было и изучать срочно законы и очень крепко думать, готовясь к каждому заседанию. Ведь полиция запугала всех нейтральных свидетелей, так что я остался без свидетелей защиты. Свидетели обвинения – друзья и родственники пострадавшего – отчаянно врали, но их было 6 против меня одного, так что единственная моя надежда была на то, что удастся их расколоть прямо на судебном заседании, что мне и удалось, по крайней мере отчасти. Но, как я сказал, для этого нужно было крепко готовиться. А теперь представьте, как удобно серьезно над чем-то работать, сидя в переполненной тюремной камере, где каждый хочет слушать свою музыку по транзистору и периодически, а то и непрерывно происходит выяснение отношений.

Вот почему я и решил попасть в тихие «иксы», полагая что как бы там ни было погано, но сидеть мне там не 20 лет, а всего лишь до окончания суда, а там переведут в другую тюрьму (если не освободят). Конечно, заявление о переводе туда я не писал, это не дало бы результата, а просто после очередного мордобойчика, за который мне полагалось 3 дня карцера, я еще нахамил начальству примерно прикинув необходимую дозу для достижения цели и угадал.

«Иксы» оказались далеко не такими страшными, как казалось снаружи, и, как я узнал позже, опытные уголовники иногда попадают туда по своей воле отдохнуть, прибегая для этого к той же в общем технике, что я придумал самостоятельно. Конечно, если сидеть там годы, да еще именно в одиночке, а не с напарником, да еще если прогуливать тебя будут на отдельном дворе как мистера Икса, то можно подвинуться рассудком. Но с другой стороны и в общей камере за годы можно подвинуться рассудком и я знаю случаи, когда подвигались не за годы, а за месяцы.

Я сидел, кстати, с напарником и напарник у меня был терпимый, мы даже немного подружились. Он был довольно крупный уголовный авторитет, номер два в городе Натания и издали производил грозное впечатление, особенно своей головой гидроцефала. Но вблизи обнаруживалось, что эта голова имеет детское личико с пухлыми щечками с ямочками и всегда готовый расплыться в улыбке детский ротик, за что он и получил свое прозвище Бамбино. Впрочем, не стоило сильно обманываться его детским личиком. Этот «ребеночек» имел манеру хаживать на дело с пистолетом с глушителем, что, конечно, не мешало помнить на случай войны. Но в миру, так сказать, Бамбино был незлоблив и не лишен чувства юмора. «Иксы» же располагают к миру и тишине и конфликта у нас тогда не случилось (конфликт случился время спустя, когда судьба вновь свела нас но уже в общей камере, где обстановка куда как менее располагает к идиллии).

В общем сидел я в «иксах» тихо-мирно где-то с месяц, изучая закон, свое, а заодно для разнообразия и бамбинино дело. Ну не стану врать, что я уже стал скучать и томиться – мой процесс не позволял мне дойти до такой стадии – но в общем тишь да гладь. Как вдруг во время одной из прогулок во дворе появилась новая личность, которая не могла не привлечь внимания. Его звали Дани Гарстен. Возможно, что его фамилия была уже перекрученной на израильский манер с какой-нибудь типа Гарштейн или Гафштейн, уголовники же, которым было и так трудно произносить ее, перекручивали ее дальше и назвали его Дани Кристал. Это и был, как оказалось, главный герой-летчик вертолета из упомянутой истории, а спасенным в той истории был его друг Элиягу Паз (в своем российском раннем детстве Илья Файзильберг) по кличке Джинджи (в переводе – «рыжий»). Побег был совершен из суперкрутой немецкой тюрьмы. Действительность истории подтверждалась кипой вырезок из западных газет, которые мне давал впоследствии читать Дани. Из этой же кипы я узнал и о лихих ограблениях банков во многих европейских странах, осуществленных им в одиночку или вдвоем с Пазом.

Первое впечатление было очень не в его пользу. Настолько, что я инстинктивно стал отыскивать глазами угол, максимально удаленный от траектории его прогуливания. Очень уж не хотелось с ним пересекаться и иметь лишние приключения. По толпе мелкой бесовщины завивающейся вокруг него поземкой можно было определить тяжелый уголовный калибр. Внешность его тоже была изрядно пугающей. Он был высок, грузен, с на редкость даже для сефардских евреев темным цветом кожи (а он был ашкеназ, да еще родом из России), с негроидными чертами лица, в частности толстыми губами. Черные волосы, стриженные по последней уголовной моде, т. е. пол сантиметра равномерно по всей голове и то же на физиономии, старый, драный, неопределенного цвета тренинг и такие же драные и не зашнурованные кеды дополняли картину.

Я подавил инстинктивное желание забиться в темный угол, что было бы непозволительной глупостью, но от обычного хождения по двору решил пока отказаться, посмотреть, как будут развиваться события. Присел под стеной, подставил лицо солнцу и сделал вид, что кайфую под его лучами. Гарстен побродил по двору, беседуя с приближенными, и вдруг, дав знак свите отстать, направился прямо ко мне. Не меняя позы и делая вид, что не замечаю его, я внутренне подобрался. Но напрасно.

Дело в том, что, как я позже узнал, несмотря на избранную им себе судьбу грабителя, на авторитет в уголовном мире и отличное умение понимать его представителей и ладить с ними, несмотря на наличие у него небольшого круга близких друзей из этого мира, его нормальной средой обитания в миру был круг людей не уголовных, интеллигентных, более того, израильской элиты, так сказать бомонда. На первый взгляд это может показаться неправдоподобным. На самом деле элита израильского общества куда как менее чем обыватель отделена от преступного мира, точнее от преступной же элиты. Впрочем, не относится ли это к элите любого народа в любые времена? Для того, чтобы не было сомнений в возможности такого, достаточно вспомнить одну весьма нашумевшую в Израиле историю, в центре которой личность, известная теперь далеко за пределами Израиля. Это боевой генерал, затем советник премьера по безопасности, наконец глава одной из партий и министр туризма по кличке Ганди, убийство которого арабскими террористами и последующее возмездие израильтян как раз и сделали его известным всему миру. Но даже превращение его через эту смерть в национального героя и мученика не заставило израильтян забыть то, чего мир не знал, зато знал любой израильтянин.

За несколько лет до моей посадки в Израиле произошло убийство двух крупных авторитетов уголовного мира. Уже само по себе оно вызвало известный интерес в обществе и тем более среди жадной до сенсации журналистской братии. Но события, развивавшиеся вокруг дела, стали стремительно закручиваться в интригующий сюжет, выходящий за рамки обычного уголовного детектива. Через несколько дней были арестованы по обвинению в этом убийстве два известных израильских бизнесмена, еще более известных своей принадлежностью к элите уголовного мира и безуспешностью полиции доказать это и посадить их. Это были Тувия Ошри и Гумади – первые номера в списке одиннадцати главарей израильской организованной преступности, опубликованном за год, примерно, до этого известным политическим деятелем Эгудом Ольмертом, впоследствии мэром Иерусалима. Кстати, часть лиц из этого списка, включая Ошри, Гумади и их дружка, крупного строительного подрядчика Бецалеля Мизрахи подала на Ольмерта в суд по обвинению в клевете и выиграла процесс. Понятно, как это взвинчивало интерес публики к делу. Но чем дальше, тем становилось круче. В печати появились сообщения, что пока полиция ведет расследование этого дела, упомянутый Ганди, бывший тогда советником по безопасности при премьере, получил специальные полномочия от тогдашнего министра внутренних дел Бурга на расследование действий самой полиции в этом деле. И используя эти полномочия, всячески расстраивает действия полиции и оказывает на нее давление, дабы дело замять. Полиция не сдалась и пробросила в печать сведения

не только о том, что Ганди является близким другом Ошри и Гумади (а заодно и Мизрахи и других из списка), но что она несанкционированно следила за ним и прослушивала его телефон, и что после убийства Ошри и Гумади немедленно связались с Ганди, сообщили о случившемся, просили помощи в сокрытии трупов и получили ее. Трупы были вывезены на машине Ганди и закопаны на пустыре, где полиция и нашла их. Кстати, о том, что Ганди не просто друг главарей преступного мира, но является главным паханом и покровителем этого мира, в Израиле знали многие простые люди задолго до этого и я об этом слышал вскоре после приезда в Израиль и еще до того как узнал, что он – боевой генерал с большими заслугами. В общем разгорелся грандскандал с требованиями посадить и Ганди и министра внутренних дел или по крайней мере снять их с должностей. Но Бурга нельзя было снять, поскольку он был не только министр, но и глава крупнейшей в стране религиозной партии, входящей тогда в коалицию и само собой, что партия вышла бы из коалиции, а коалиция распалась, если бы Бурга только сняли, не говоря, посадили. А он мертво крыл Ганди. Кончилось все компромиссом: Бург и Ганди остались на своих местах, а Гумади и Ошри получили свои сроки и мне довелось мельком и с ними познакомиться в израильской тюрьме (одно время я был техническим руководителем в механической мастерской в промышленной зоне нашей тюрьмы, куда нас гоняли на работу, а Ошри точно также возглавлял рядом расположенную столярку и мы захаживали иногда друг к другу отдолжиться инструментами).

Не следует, конечно, из этого примера делать вывод, что вся израильская элита – это сплошные Ганди. Ольмерт, сражающийся с организованной преступностью, ведь тоже принадлежал к элите. И подавляющее большинство израильтян и элита в том числе бурно возмущались поведением Ганди, что, впрочем не мешало части из возмущавшихся продолжать водить дружбу с другими заправилами преступного мира. Может лучше здесь было бы говорить не об элите в целом, а именно о бомонде, той части элиты, которая претендовала на великосветскость, в частности устраивала «светские рауты», они же тусовки, на которых присутствовали всякие звезды, начиная со звезд эстрады, политики, генералы, журналисты, адвокаты и… тузы преступного мира. Тяжело сказать, какой процент израильской элиты представляла собой эта тусовка, но она надмевалась представлять всю элиту и от части преуспевала в этом.

Так что ничего удивительного в том, что грабитель банков Дани Гарстен в миру был светским человеком, вращающимся в элитарном обществе, не было. Более удивительным было то, что он стал носителем подлинной культуры, чего отнюдь нельзя было сказать о других тузах преступного мира, вращающихся в той же среде.

При его «рекорде» (record) можно было представить себе Гарстена эдаким голливудским мачо подавляющим окружающих своей волей, жестокостью и непреклонностью. Действительность была противоположной. На самом деле я не встречал людей более мягких и внутренне интеллигентных. Впрочем и внешняя интеллигентность его была впечатляющей при почти полном отсутствии систематического образования – он не кончил даже средней школы. Но он был много и хорошо начитан, имел вкус к литературе, любил театр и был замечательным собеседником.

Его положение в уголовной иерархии давало ему возможность пользоваться всеми привилегиями крупного авторитета в тюрьме за счет авторитетов менее крупных, не говоря о просто шестерках и неуголовных «фраерах» волей судьбы оказавшихся там. Но я не видел случая, чтобы он воспользовался этим. Ему бы никто не отважился напомнить, что сегодня его очередь мыть полы в камере. Мало того, шестеры за честь сочли бы помыть за него. Но он тщательно следил, чтобы не пропустить своей очереди и мыл сам. Нормальный уголовный авторитет его ранга не варит сам себе кофе в камере. Он только щелкнет пальцами и произнесет «кофе», и шестеры тут же кинуться исполнять. Дани же мог приготовить кофе для всех, собрать все стаканы, помыть, налить и поднести каждому его порцию. Я уж не говорю, что он никогда

не тиранил и не унижал слабых, не оскорблял, не издевался, не говоря о физическом насилии. Наоборот, не раз и не два мне доводилось видеть, как он защищал слабых.

Конечно, как и в случае с любым вариантом Робин Гуда, встает вопрос, как же он при всем его благородстве дошел до такой жизни. И как во всех таких случаях абсолютно оправдательного ответа быть не может. Но всегда есть мощное оправдывающее обстоятельство – подлость цивилизованного общества. Цивилизованный мир отличается от преступного вовсе не благородством или отсутствием подлости, а лишь признанием и соблюдением закона. Последнее дало обществу много и позволило ему достичь многого из того, чего оно иначе не достигло бы. Но закон в высшей степени несовершенное средство в борьбе с подлостью. Подлость настоль многообразна, что ее невозможно всю охватить и оговорить никакими законами. К тому же она видоизменяема как вирус. Зато, практически не ограничивая подлость, закон вяжет руки желающим бороться с ней. Вот сделали подлость цивилизованному законопослушному гражданину, иногда такую подлость, что и убить за нее мало, но законом она не ухватывается. И что же ему делать, если он законопослушный? Или проглотить ее, или ответить подлостью на подлость. В уголовном же мире человек не исследует степень законности совершенной против него подлости. Он реагирует на нее, как на таковую в меру своей силы и мужества.

Нет, я, конечно, не зову назад в пещеры к первобытному, не знающему закона обществу и не провозглашаю всех бандитов Робин Гудами. Но то, что подлость современного общества дает преступности своего рода оправдание – это факт, как факт и то, что образ Робин Гуда – это не романтическое измышление и цивилизованное общество своей подлостью и лицемерием порождало, порождает и будет порождать Робин Гудов.

Были у Гарстена и классические «смягчающие обстоятельства» в виде тяжелого детства и «исторической обстановки в те еще времена». Он вырос в трущобном районе Тель-Авива, где все подростки были так или иначе связаны с преступностью. Конечно, не все они стали профессиональными преступниками, но ведь большинство из тех, кто не стал, ушли с этого пути не по моральным соображениям, а потому, что не обладали силой и мужеством, которых требует этот путь.

В общем, вычислив меня в качестве носителя культуры, Дани и направился ко мне, дабы пообщаться с тем, с кем общаться ему было интереснее, чем с коллегами по ремеслу. Мы быстро нашли общий язык и даже подружились настолько, что когда через некоторое время нас вместе с еще группой зэков перевели в общее отделение мы договорились проситься в одну камеру, что и осуществилось. В той камере мне довелось быть недолго, т. к. вскоре пришлось побить морду одному зэку, который воровал у меня продукты из тумбочки и попался, за что меня после карцера перевели в другую камеру. Вскоре и Дани ушел из этой камеры, т. к. в отделении один за другим стали появляться его друзья и просто крупные уголовные калибры и они решили объединиться. Начальство обычно не препятствует пожеланиям зэков сидеть своей компанией в камере, поскольку это снимает с него лишнюю головную боль – и без того разборки в тяжелых израильских тюрьмах типа рамльской, идут непрерывно, кончаясь резаниной и даже убийством, что портит начальству статистику. Дани пригласил и меня в эту камеру и я согласился. Это была самая тяжелокалиберная камера за время моей отсидки. Кроме самого Гарстена там вскоре после моего вселения объявился и его лучший друг Элиягу Паз, также переведенный из другой тюрьмы. Еще до моего вселения там уже были два крупных авторитета из арабского израильского преступного мира – друзья детства Дани и Паза и, наконец, два натаниата – уже упомянутый мной Бамбино, и номер один Натании- Дамари. Камера была на 8 человек. Седьмым был я, а восьмого никак не удавалось доукомплектовать подходящего и эти восьмые часто менялись.

Мне сиделось там довольно неплохо. Пребывание мое облегчалось дружбой с Дани и не менее того, а может даже больше – наличием общего языка с ним. Потому что как раз

отсутствие общего языка с уголовной средой было главной проблемой для меня в тюрьме, обрекая на одиночество в толпе, что плохо и изнурительно само по себе, а в тюрьме служит еще и приглашением к дополнительным атакам на тебя. Ибо основное правило тюремной жизни это найти там свою компанию, свою, так сказать, кодлу и держать с ней круговую оборону, когда тронувший одного должен иметь дело со всей кодлой. Я же за все 3 года отсидки по причине отсутствия языка ни к какой компании не примкнул и своей не обзавелся. Поэтому, несмотря на добытую мной во многих драках репутацию «сильного с руках» (это прозвище, помимо прямого смысла имело в виду также то, что я упорно отказывался пользоваться в драках ножом, даже когда таковой применялся против меня), я не имел в тюрьме покоя ни в одной камере из многих, где мне пришлось сидеть, за исключением этой и еще двух-трех.

Вообще то сидение в камере с авторитетами имеет и свои плюсы и свои минусы. Крупные авторитеты подобны крупным хищникам в природе: не суетливы, спокойны в нормальном состоянии, в отличие от вечно кипящей и бурлящей мелкой бесовщины, разъедающей этим своим кипением до костей. Авторитеты это, как правило личности, уголовные, конечно, но личности. В уголовном мире механизм естественного отбора работает гораздо четче, жестче, первозданней чем в цивилизованном обществе. Поэтому чтобы пробиться наверх здесь требуются высокие личные качества, опять же уголовные, но не будем забывать, что в число их входит непременно мужество, характер, природный интеллект, талант руководителя и многое другое, что высоко котируется и в цивилизованном обществе. Но в цивилизованном обществе как поет Галич «молчальники вышли в начальники», наверх пробивается много, очень много посредственности и серости, а личностные качества служат зачастую недостатком для карьерного роста – начальство не любит сильно «вумных», «много о себе думающих» и т. п., да и коллеги тоже. В уголовном же мире как говорят в Израиле «эйн эфес» – нет нуля, не может «псевдо» ни взобраться наверх ни удержаться там, ибо он постоянно проверяется на вшивость конкурентами. Ну а личность, это всегда личность, в чем бы она себя не проявляла. Это люди уважающие себя и способные уважать другую личность даже из далекой от них сферы. Для мелкой уголовщины моя докторская степень была приглашением для дополнительных атак. Для них это означало, что я не просто фраер, интеллигент в очках, но суперфраер. Единственное, что их сдерживало это мои физические данные и постоянное подтверждение того, что мой внешний вид не обманчив, с помощью мордобоя. У авторитетов мое докторство вызывало, как правило, уважение. Все это были плюсы крупнокалиберной камеры для меня.

Минус же был простой: в такой камере если уж назревал конфликт он был по понятным причинам гораздо опаснее, чем в обычной. В данном случае был еще дополнительный минус, в особе Паза. Паз хоть и был другом Дани и также в определенном смысле принадлежал к благородным бандитам, не грабил бедных, не предавал друзей, но как предупреждал меня сам Дани перед ожидаемым появлением Паза, он был человеком жестким и, добавлю от себя, не обладал даниной внутренней интеллигентностью. Но главное, что в тюрьму он попал и очутился у нас не успев отойти от предыдущей семилетней отсидки в немецкой тюрьме, не знаю, в той же самой, из которой его выручил Дани, или в другой. И отсидел он эти 7 лет в одиночке, что, как я сказал, дурно действует на психику. Рассудком Паз не подвинулся, но у него здорово натянулись нервы и одновременно утратилась коммуникабельность. Гордость не позволяла ему показывать последнего и он пытался это скрыть повышенной жестокостью и подначками окружающих. Правда, он не переходил незримую границу между подначками и откровенными оскорблениями и издевательствами, но тем не менее изрядно взвинтил напряженность в камере. Восьмые номера наши замелькали с его появлением с особой частотой. Доставалось и мне, но я по возможности поддерживал статус кво, отвечая в такт ему и заботливо стараясь не перейти границу, за которой Паз взорвется.

Первым из основного состава не выдержал Бамбино. Его интеллекта не хватало на пикирование на равных без перехода незримой границы, и перейти ее. имея дело с Пазом он без-

условно побаивался. В результате через некоторое время он почувствовал себя уязвленным и попытался отыграться на Гарстене, полагаясь на его бесконечную мягкость. Не обладая должным тактом, к тому же взвинченный и уязвленный Бамбино перешел границу дозволенного, на что «бесконечно мягкий» Дани немедленно отреагировал. Не повышая голоса он сказал только: «Бамбино, до сих» и Бамбино скис. Но надавленная мозоль самолюбия продолжала ныть и он избрал объектом своих неуклюжих шуток на сей раз меня. И тоже перешел грань. Я не обладал авторитетом Дани и не мог сказать: «Бамбино до сих» в надежде, что он остановиться. Поэтому я выступил лапидарно. Я сказал: «Бамбино! Эта камера тесна для нас двоих и одному из нас придется ее покинуть. И этим одним будешь ты». Это было настоль неожиданно, что он растерялся. Он сказал «Хорошо», с минуту сидел молча и казалось вот вот начнет собирать вещи. Но он был достаточно опытным бандитом и крупным калибром, чтобы не понимать, какой непоправимый ущерб это нанесло бы его авторитету. Через минуту он преодолел внутреннюю слабость и молча полез в свою тумбочку где, я видел, взял и зажал в руке лезвие бритвы.

То, что Бамбино боится драться со мной на равных. вызвало во мне опасную эйфорию. Я мог ударом ноги по дверце тумбочки повредить Бамбино руку или даже перебить ее, но раздухарившись не в меру позволил ему эту фору перед боем, полагая в тот момент, что управлюсь с ним и так Это могло оказаться опасным заблуждением, поскольку Бамбино был не подарок и без бритвы.

Но ситуацию развернул по другому тот же Паз. В последнюю минуту он выступил на авансцену и как говорят в Израиле «пасак», т. е. произнес приговор, молчаливо поддержанный всей камерой. Он сказал мне: «Ты не прав. Не тебе решать самому, кому быть, а кому не быть в этой камере. Поэтому камеру оставишь ты». Даже если бы в словах Паза не было резона, переть против всей камеры, такой камеры, было бы полным идиотизмом. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как собрать свои вещи и попросить охранника перевести меня в другую камеру.

Но еще до этого случилась история весьма характеризующая Дани и послужившая, кстати, причиной окончания нашей дружбы.

История эта связана еще с одной личностью, достаточно колоритной, чтобы заслуживать отдельного описания. Звали его Пенсо, а кличка его была Турку, он был турецкий еврей. Турку был гораздо более известен, чем, скажем, Дани Гарстен. Последний обладал высоким авторитетом в узких кругах и к общеизраильской известности отнюдь не стремился. Не знаю, стремился ли к ней Турку, но точно, что не уклонялся о нее. Как писала о нем одна газета, он был «самый сильный грузчик на Ближнем Востоке». Вот так! Не больше и не меньше. Не знаю, как это удалось установить газетчику, но никто не оспаривал. Коронный номер Турку, из-за которого его приглашали на все знатные свадьбы в Израиле был такой. Он сажал невесту на стол с одного края, сам брал этот стол зубами с противоположной стороны, без помощи рук поднимал его вместе с невестой и танцевал с ней сидящей на столе, что запечатлялось на фотографии и служило потом доказательством, что свадьба была на высоте. Одна из таких фотографий была помещена в газете, что почему то помешало Турку на его процессе закосить на душевно больного, хотя, как будет видно из дальнейшего у него были для этого основания.

Сидел Турку по обвинению в убийстве любовника своей жены, чего он не отрицал и чего и отрицать было невозможно, действие было прилюдным. Турку был классическим антиподом Гарстена. Если Дани являл собой тип благородного бандита, то Турку помимо того, что бандитом не был, а как зэк относился к классу бытовиков, был в некотором смысле потрясающе антиблагороден. Причем не в смысле жестокости с применением его чудовищной силы, что при его примитивном интеллекте было ожидаемо, а наоборот. Турку был ужасная гнида.

Познакомились мы с ним при следующих обстоятельствах. Мы сидели тогда в отделении для лиц, выражаясь суконным юридическим языком, «с мерой пресечения в виде заключения

под стражу до суда», или что то в этом роде. Именно из этого отделения я попал в «иксы», а затем уже подружившись с Гарстеном был водворен назад. С Турку мы познакомились еще до этого. Сначала мы сидели с ним в разных камерах и я о нем ничего даже не слыхал. Потом прохиндеи зэки подсунули мне его, как фраеру под таким предлогом. Вот мол ты у нас тут единственно грамотный человек, а тут у нас есть один несчастный, который не может написать письмо жене и нужно помочь ему. Я, конечно, не был там единственно грамотным, хотя безграмотных там хватало, но, как и положено фраеру, не заподозрил подвоха и согласился. Подвох же был в том, что Турку уже заколебал своими письмами жене всех своих сокамерников и прочих в пределах его досягаемости. Дело в том, что этот любовник, которого Турку столь драматически зарезал, был не единственный у его жены ни до, ни тем более после того как Турку сел. Причем это была такая стерва, что на сопливые письма Турку с любовными излияниями и мольбой не изменять, она таки отвечала ему и откровенно издеваясь нагло расписывала свои похождения. Турку же не просто диктовал согласившемуся ему помочь свои письма, но до бесконечности изливал свою душу, показывал женины письма, выжимал из пишущего сострадание и согласие с тем какая она подлая, плакал и размазывал сопли могучими кулаками по толстым мордасам.

Как и положено фраеру с понятиями о благородстве, я, даже, поняв во что влип, не тормознул вовремя, а, сострадая Турку, продолжал терпеть его излияния и писать ему письма. Некоторое время спустя я после очередного карцера попал в очередную новую камеру и там волей судеб стал чем-то вроде пахана. Чтобы представить себе, как это могло случиться, нужно описать немного характер внутренних отношений в израильской тюрьме и уголовном мире вообще.

В литературе характер этих отношений подается обычно как строго иерархический: пахан – вассалы – солдаты – шестеры и вся вертикаль держится только на силе. Не знаю как во всем мире, но в Израиле эта схема, хоть и является преобладающей, но не абсолютно. К чести (по моим понятиям) для Израиля в нем довольно таки распространена и другая схема отношений, которую можно назвать разбойной демократией, нечто напоминающее Запорожскую Сечь, хотя в последней была хоть какая-то степень иерархии в виде гетмана и старшин. В рамльской же тюрьме мне доводилось сиживать в камерах и даже в одном отделении полностью укомплектованном своеобразным братством вольных разбойников, не признающих над собой никаких паханов и те кстати и не пытались установить над ними свою власть.

Нужно принять также во внимание, что и сам характер паханской власти тоже не везде одинаков и подобно монархической и авторитарной власти в государстве он может колебаться от жестокой деспотии, до сравнительно либерального правления. Наконец, само установление паханской власти в камере зависит не только и может не столько от наличия в ней сильной деспотической личности рвущейся к власти сколько от характера основной массы сидящих. Как я уже сказал, над вольными волками никакой пахан не мог установить своей власти. С другой стороны попадалась публика, которая сама искала под кого склонить выю. Тем более, что наличие в камере пахана имеет и свои плюсы. Как и у любой власти у паханской есть и свои полезные функции, в частности защита от внешних врагов (авторитет пахана страдает, если его вассалов, бьет не он сам, а какие-то посторонние) и поддержание внутреннего порядка, например судейство в разрешении конфликтов внутри камеры, которые иначе гораздо чаще разрешались бы кровью.

Так вот я в тот раз попал в камеру, публика в которой очень уж хотела, чтобы ими правили (и их опекали) и они не сговариваясь и не спрашивая моего согласия вытолкнули меня в паханы так, что я и сам не успел осознать, как это произошло. Просто, когда ко мне в первый раз обратились за тем, чтобы я рассудил, кто там прав, кто виноват в каком-то конфликте, я согласился, не заподозрив, что вступил тем самым на путь паханства, а дальше пошло-поехало. Конечно, я никого не притеснял, не взимал дань, не заставлял готовить мне кофе и т. п. Не успел я осознать

себя паханом камеры, как меня за такового стали считать и за пределами ее и когда у нас освободилось одно место Турку попросил меня взять его в нашу камеру. И я согласился, не заметив даже, что забыл спросить мнения об этом моих сокамерников. Вот прекрасная иллюстрация к психологии возникновения культов личности. Кстати, никто в камере и не вздумал возражать по этому поводу и все приняли это как совершенно естественное осуществление мною своих прав сюзерена.

Согласился я по своей интеллигентской мягкости из сострадания к несчастному, готовый на жертву терпения его соплей и воплей, но не зная еще какую гадюку я пригреваю, так сказать, на груди. Вскоре выяснилось что Турку имеет манеру воровать у своих сокамерников продукты из тумбочек. Крал он, правда, у арабов, а не у евреев, полагаясь то ли на то, что в этом меньше греха, то ли на то, что пахан, то есть я, еврей и в случае чего его прикроет. У нас там сидело 3 араба по обвинению в членстве в боевой организации палестинцев ФАТХ и выдававших себя за страшно религиозных шейхов, абсолютных вегетарианцев и пацифистов, принципиально отказывающихся от применения силы. Не знаю, что было большей правдой: их членство в ФАТХ или их религиозный пацифизм или имело место и то и другое, я не выяснил. Знаю только, что среди них был один высочайшего, насколько я понимаю, класса каратист, который при желании управился бы с Турку вместе с его чудовищной силой. Этот парень демонстрировал нам каратистский приемчик, какового я не только и в кино не видел, но не мог даже помыслить себе. Это был удар носком ноги через себя в лоб идущему сзади человеку, скажем, конвоиру, неосторожно приблизившемуся. Носок его ноги уходил за его спину удивительным образом чуть ли не на пол метра и если учесть, что он еще сильно откидывался спиной назад, то можно представить себе насколь эффективен этот прием в действии.

Но, как я сказал, арабы то ли были сильными пацифистами, то ли сильно в это наяривали, но от разборки с Турку (как и от любых других) они решительно уклонились и обратились с жалобой ко мне. Для установления истины мы провели следственный эксперимент: один из арабов в присутствии Турку положил себе в тумбочку, какую-то привлекательную в наших условиях снедь, а потом вечером, когда нам на пару часов открывали камеры и разрешали ходить по коридору отделения и заходить в другие камеры в гости, все вышли и установили тайное наблюдение. Увидев, как Турку воровато оглядевшись и не заметив слежки нырнул в камеру, мы кинулись за ним и застали его на месте преступления. Я велел ему складывать вещи и уходить из камеры. Он даже не пытался возроптать, а по своей манере стал плакать и просить простить его. Я остался непреклонен, т. к. считал и поныне считаю, что воровство нужно наказывать, тем более воровство у товарищей по камере да еще в ситуации, когда держали нас там просто впроголодь. Вообще то в израильской тюрьме, в нормальной, в которую люди попадают после суда, кормят отнюдь не плохо, и уж точно достаточно в смысле калорий. Но в этом отделении по соображениям быть может, чтобы нам натощак лучше думалось как себя защищать на процессе, питание было из рук вон плохо. Мяса не было в рационе вообще, давалось пол вареного яйца в день, иногда два раза в день, и какие-то фантастические вареные овощи, по виду напоминающие рубленные лопухи и совершенно безвкусные, каковых я не едал и не видел, чтобы кто-то ел, ни до ни после. Кроме того в отделении был ларек, в котором мы отоваривались на очень скромную сумму, которую нам разрешалось получить раз в месяц с воли. Я, например, на всю сумму покупал 15 стограммовых пачек халвы и таким образом мог добавить по пол пачки к своему дневному рациону, что было весьма существенно. Представьте себе что в этих условиях Турку подчищал у кого-то эти запасы. Это было уже не просто аморально но и затрагивало жизненные интересы.

Турку ушел, но не сказал начальству, как это было принято в таких случаях, что он уходит по собственному желанию, а сказал, что я его выгнал. Меня в очередной раз сунули в карцер на 3 дня, но Турку в камеру не вернули, а сделали его шестерой при начальстве, убирающего в их помещениях, где-то там возле них и ночующего, а в свободное от работы время

вольно разгуливающего по отделению. С начальничьего стола он и подкармливался а за это, а может и добровольно взял на себя функции стукача. Он имел манеру, пользуясь своей свободой перемещения, подслушивать, что говорили в запертых камерах зэки. При этом он стоял в коридоре прижавшись к стене рядом с дверями камеры и был не виден из нее. Однако тайна его вскоре все равно открылась, т. к. бывало, что кто-то случайно подходил к двери и видел его через прутья, видели его и из камер с противоположной стороны. И если Турку и до этого был презираем, то теперь он стал просто парией.

Так вот еще до того, как я покинул гангстерскую камеру, я однажды случайно подошел к двери и увидел подслушивающего Турку. Он, тоже увидев меня, шарахнулся, а я кинул ему вдогонку «маньяка», что на израильском сленге означает «педераст», и еще пару ругательств. И тут неожиданно вмешался Дани и прочел мне мораль, зачем я обижаю несчастного человека. Я был поражен и впервые не поверил в его искренность. Турку был подонок и по понятиям цивилизованного человека, по уголовно же тюремному кодексу чести, который в общем исповедовал и Дани, вина стукача считалась самой страшной. Турку рано или поздно ждало неизбежное для таких людей в израильской тюрьме наказание. Им особым образом резали бритвой лицо – четыре надреза крест-накрест решеткой на щеке, каинова печать, по которой каждый потом мог знать с кем он имеет дело. И даже сила Турку не спасла бы его, потому что делалось это неожиданно и очень ловко (мне самому раз довелось видеть это). Какой-то обычно мелкий и очень юркий тип подскакивал, молниеносно наносил порезы и успевал отскочить раньше, чем порезанный отреагирует. Поэтому я решил, что на сей раз Дани позирует и переигрывает, изображая благородство. И сказал ему что-то в этом роде. Дани обиделся. Никакого эксцесса не произошло и отношения наши остались вполне корректными, но дружба ушла. Дальнейшее же показало насколь неправ был я и насколь прав был Дани.

Где-то с месяц после ухода из той камеры меня вызвал на свидание адвокат. Не мой, правительственный, а один из лучших уголовных адвокатов Израиля, который сам предложил мне свои услуги для защиты, движимый, как я понял, и профессиональным (дело мое было сложным и хороший адвокат мог прославить себя в нем) и идеалистическим мотивом. Он верил в мою невиновность и видел, что дело мне шьют. Во имя идеализма он готов был взять с меня половину того, что взяла уже Эдна Каплан, но теперь у меня не было уже и этого и дело не состоялось. Как он сказал, совсем бесплатно он не может себе позволить меня защищать, ибо это будет нарушением корпоративной адвокатской этики и прочие адвокаты обидятся. Кстати эта история повторилась еще с одним адвокатом из первых израильских и тот пошел еще дальше. Выяснив, что я не могу заплатить и половины и даже четверти, он тоже помянул корпоративную мораль, но, сказал, консультировать меня до конца процесса его адвокатская фирма будет бесплатно и подрядил на это дело своего помощника. И тот действительно являлся ко мне в тюрьму по первому моему звонку и очень полезно меня консультировал. Я искренне благодарен обоим этим адвокатам за их благородный порыв, а тем более второму, за реальную помощь, но… не могу не сравнить этого адвокатского благородства с благородством обыкновенных уголовников. Не всех конечно. (Но ведь и адвокаты не все кинулись защищать, хотя бы за пол цены, невиновного).

Была у меня однажды стычка с одним авторитетом, в прошлом боксером высокого класса, к тому же коварным, подлым и потому тем более опасным в драке. Я публично посреди тюремного двора в присутствии многих оскорбил его самыми страшными в тюрьме ругательствами. Идя на это дело я был внутренне готов к тому, что живым не вернусь, а уж, чтоб и невредимым, и не надеялся. Но он струсил и ушел к себе в камеру. Но вскоре вышел и судя по косякам которые он кидал в мою сторону незаметно, он прихватил нож и теперь выжидал момента, когда сможет приблизиться ко мне незаметно и пырнуть. Я был к тому времени достаточно опытным зэком, чтобы правильно прочесть ситуацию, но меня несло. И демонстрируя к своему врагу полное презрение, я предложил одному зєку сыграть в нарды и не на дворе, где

было много народу а в небольшой такой комнатуле, для таких игр и предназначенной. Только зэки предпочитали в прогулочное время максимально использовать солнце и сидели и ходили во дворе, а комната, как правило, была пустая. Она была удлиненная типа коридора, в одном торце была дверь выходящая во двор и всегда открытая. Окон не было и поэтому дальний конец был изрядно темный. Вот в этом дальнем конце я и уселся с напарником, причем я сел спиной к двери, как бы специально предоставляя моему врагу возможность подкрасться незаметно. Риск на самом деле был не столь велик, как это может показаться, поскольку тюремная жизнь обостряет, и у меня в частности весьма обострила, интуицию и я довольно уверенно к тому времени чувствовал опасность затылком и был уверен, что сумею в последнее мгновение опередить моего врага, если он приблизиться. Была в этом, конечно, и эйфория, подобно той что в истории с Бамбино.

Но мне не довелось проверить в тот раз свои экстрасенсорные способности и реакцию. Едва мы с напарником уселись, как два здоровых амбала и достаточно крупных авторитета, всегда играющих на прогулках в нарды во дворе на одном и том же месте, поднялись, прихватили свои нарды, зашли в комнату и уселись у входа прикрыв таким образом мне спину.

Я с этими амбалами ни до, ни после не обмолвился ни словом, даже «здрасте-досвиданья», и даже имен их не знал и не знаю. Конечно они мало рисковали. Маловероятно было, что ради того, чтобы достать меня Моня и на них полезет с ножом, тем более после только что полученной им психической травмы. Мало, но не исключено – поведение уголовных типов не всегда предсказуемо. Мало рисковали, но рисковали все-таки своей шкурой, а не нарушением корпоративной морали. Корпоративную мораль они, кстати, тоже нарушали: Моня был их корпоративный коллега, а я фраер, представитель другой, чуждой корпорации. Но я бросал вызов не только Моне, но в некотором роде всей их корпорации. И в них хватило благородства, чтоб прочесть это правильно. Они показывали мне, что «среди нас не все Мони, вот мы не хуже тебя»! Может они думали не совсем так или вообще не определяли для себя внятно мотивы своего поступка. Но как не крути, сравнение не в пользу адвокатов. И таких случаев за время моей отсидки было еще несколько.

Но это лирическое отступление. Тогда же придя к адвокату (будучи к нему приведен) я застал в комнате, кроме него еще несколько зэков и среди них Турку. Все они были его подзащитными и он принимал их одного за другим в присутствии остальных, что, насколько я понимаю, было нарушением если не закона, то каких-то норм, поскольку понятно, что беседа адвоката с подзащитным не должна быть слышима посторонними. Но так было. Я был последним в очереди а Турку предпоследним. Когда нас осталось только двое, Турку сказал мне эдаким повелительным тоном: иди ты. Понятно, что тот, кто оставался последним, имел бы возможность побеседовать с адвокатом наедине и каждому это казалось важным, в конце концов речь шла ведь не о пустяках. Но последняя очередь была моя и я сказал Турку об этом, добавив что-то вроде: а ты кто такой, чтоб я тебе уступал, давай дуй. Турку набычился, взрыл землю копытом и казалось еще мгновение и он броситься на меня. Но я выдержал характер и дожал его: «Давай, давай». И Турку пошел.

А недели через 3 после этого Турку повесился. Пользуясь своей свободой перемещения он сделал это на лестничной клетке, привязав второй конец ремня к перилам и прыгнув в пролет. Смерть наступила мгновенно от разрыва шейных позвонков. Узнав об этом я не мог не вспомнить Дани. Рациональная прокрутка ситуации убеждала (или я себя убеждал с ее помощью), что я не виноват нисколько в его смерти. В истории у адвоката ведь действительно была моя очередь, а то, что я его когда-то назвал «маньяком», так он этих «маньяков» столько наслушался и до и после… И наконец, понятно, что решающим фактором в его смерти была его жена. И все-таки еще долго на душе у меня было противно.

С Дани же судьба свела меня еще раз при обстоятельствах нелегких для меня и трагических для него. Было это с год спустя после суда и меня тогда после многих драк упако-

вали в самую тяжелую морилку в тюрьме. Тяжелей, может быть, была психушка, но там мне не довелось побывать, хотя один раз меня туда пытались упечь, слава Богу, не совсем удачно. Называлась морилка «маавар», что в дословном переводе означает «переход», «переходник» и в нормальном своем предназначении была не морилка, а имела функции, соответствующие описанной во многой литературе российской «перевалке». Естественно, с теми отличиями, с которыми все в Израиле, отличается от всего в России. Т. е. это был эдакий накопитель-распределитель, куда свозили зэков со всех тюрем Израиля и откуда, перетасовав, их развозили кого в другую тюрьму, кого на суд, кого в больницу и т. п. Делалось это, чтобы не возить каждого в отдельности из пункта А в пункт Б, т. е. просто для экономии транспортных расходов. Описанная в литературе русская перевалка, была классическим местом случайных встреч друзей и знакомых по воле, которых судьба разбросала по разным точкам ГУЛАГа. В израильском «маавaре» это тоже имело место, но гораздо больше «маавар» был местом непредвиденных встреч кровников, классическим местом сведения счетов и разборок. Дело в том что в упорядоченной израильской тюрьме начальству положено следить и оно более менее заботится, чтобы кровники не попадали в одну камеру и желательно даже в одно отделение. В бардаке «маавара», где происходит непрерывная смена приезжающих-отъезжающих, за этим уследить невозможно. Одно это делает «маавар» не самым приятным местом в израильской тюрьме.

Но еще более давящим обстоятельством является сама бесконечная сменяемость населения. Когда люди долго сидят в одной камере, они притираются друг к другу, устанавливается какой-то порядок, неважно иерархический или демократический, какой-то устоявшийся характер отношений. В «маавaре» же, каждый подозревает неизвестного другого в намерении утвердиться за его счет и не дожидаясь этого растопыривает локти и стремится отвоевать себе жизненное пространство с запасом. Тем более, что в обычной камере и места у всех постоянные, в «маавaре» же при постоянной сменяемости идет и постоянная борьба за лучшие места, а в любой камере есть места лучше и хуже. Поэтому непрерывно идет страшно изнуряющий собачатник. Добавьте к этому ужасную грязь – кому охота убирать в месте, куда попал на 2—3 дня, добавьте неравномерную пульсацию населения, один день в камере довольно свободно, на другой набивают столько, что негде даже сесть и некоторым приходится стоять, добавьте отсутствие прогулок – 24 часа в камере, добавьте отсутствие окон и спертый воздух и вы поймете, что даже несколько дней в «маавaре» это хорошая пытка. Но начальство, используя то обстоятельство, что «маавар» был при рамльской тюрьме, поскольку она центральная, додумалось приспособить его для наказания особо непокорных. Высидеть там 2—3 дня, ну неделю, было еще куда ни шло, но я отсидел там 3 месяца, а был один, который на момент, когда я оттуда выбрался, сидел уже 9 месяцев и оставался еще сидеть.

Правда, где то через неделю после водворения туда, за инцидент, в котором я довольно здорово повредил одного сукина сына, хорошо хоть не до того, чтоб мне намотали еще один срок, меня перевели из общей, классической маавaрной камеры в одну из двух укомплектованных такими как я, т. е. посаженными в «маавар» в наказание. Хотя публика там была по идее забиячная, но сиделось мне там несравненно лучше, чем в общемаавaрной камере, прежде всего потому, что состав был практически не сменяем. Кроме того, несмотря на мое фраерское происхождение приняли меня там уважительно и на равных, как по причине инцидента, за который я туда попал, так и предыдущего моего «рекорда». Да и сама публика оказалась вовсе не склочной. Но все прочие прелести «маавара», конечно, имели место и здесь, а в одном отношении, камера была еще почище всех прочих маавaровских. Она была маленькая (на 6 человек) и очень тесная. Единственный проход между нарами в два этажа от дверей до туалета был настоль узок, что продвигаться по нему можно было только боком иначе застревали плечи. Поэтому все были обречены на постоянный режим лежания и когда через 3 месяца я вышел оттуда, у меня плохо двигались конечности. А от давно не виденного солнечного света у меня помутилось в голове и я чуть не потерял сознание.

Во время сидения там произошел инцидент, который после опубликования в газете интервью со мной по выходе из тюрьмы на короткое время привлек внимание многих и даже поразил воображение некоторых израильтян, что не так то просто, учитывая что в Израиле постоянно происходят события, которые для благополучной европейской страны служили бы сенсацией на год. Как я уже сказал разборки и резня шли в «маааваре» непрерывно и хоть не всех их мы могли наблюдать через прутья нашей камеры, но информацию получали обо всех, через шестер, разносящих по камерам пищу и подметающих в коридоре. Вообще уголовный мир – это нечто вроде «Затерянного мира» Конан Дойля. Он отрезан от прочего мира невидимой стеной. Их, т. е. большинство из них, не считая таких немногих, как Дани Гарстен, совершенно не интересуют события внешнего для них мира, например, внешняя и внутренняя политика государства. Зато они с необычайной страстью следят за событиями внутри своего мира, и это в основном: у кого с кем счеты, кто кого порезал, да как происходило это событие со всеми деталями, кровавыми прежде всего, кто кого собирается порезать и порежет ли тот этого или наоборот. И т. д. Поэтому, если можно так выразиться, духовным наполнением жизни в нашей камере было обсуждение бесконечных разборок происходящих в «маааваре», а если что-нибудь можно было еще и видеть через прутья дверей, то вся камера налипала на них как обезьяны в зоопарке и событие обсуждалось со страстью футбольных бобельщиков на финальном матче кубка страны.

Так вот однажды в соседнюю с нами камеру, отведенную под таких же бунтарей, как наша, только арабов привели и вселили нового зэка. Наш штатный комментатор, постоянно висевший на прутьях, дабы первым уведомить всех, что где-то там что-то начинается, с азартом папараци сообщил, что в камере у приведенного есть кровник и сидит он с друзьями, так что не пройдет и часа, как нового вынесут порезанного. Ну, не прошло и пол часа, раздались вопли и прибежали охранники и санитары. Еще через 5 минут комментатор сообщил: «Выносят» и вся камера налипла на прутья, кроме меня и еще одного зэка, с которым мы играли в то время в нарды. Папараци, желающий выжать максимум из продаваемого им информационного события, заорал как будто это его режут: «Ну что же вы, идите скорее!» И тут мы не сговариваясь ответили ему в один голос: «Да пошел ты, зараза! Надоело! Не мешай играть». Вот это наше «надоело» впечатлило израильскую публику больше обильной статистики по тюрьмам, которою ее как раз пичкали газеты.

В оправдание своего равнодушия к творимому рядом насилию должен сказать, что в начале моего пребывания в тюрьме я не раз вмешивался не в свои дела, защищая притесняемых – побиваемых, и даже дрался из-за этого, но со временем понял, что на всю тюремную несправедливость меня решительно не хватит и ограничился в основном той, которая касалась меня лично. Кроме того не всякое насилие несправедливо. Я – не абсолютный пацифист, вроде упомянутых шейхов и сам бил морды, когда считал это справедлдивым и необходимым. Но одно дело, когда ты присутствуешь у начала конфликта и знаешь, кто прав, кто виноват. Другое, когда сводятся старые счеты, разобраться в которых ты не в состоянии.

Вот в «маааваре» в этой самой камере мы и встретились с Дани в последний раз. Было это где-то за месяц до моего выхода оттуда. Его появлению предшествовали такие события. После окончания своего суда он попал в беершевскую тюрьму, а потом какое-то время спустя его перевели в рамльскую и как раз в то отделение, в котором я просидел большую часть моего срока. Но мы разминулись. Я к тому времени был уже в другом отделении. Он попал в ту камеру, которая была последней моей в этом отделении. Состав там собрался может даже более крупнокалиберный чем когда-то, когда мы сидели вместе. Все, кроме одного были если не друзья, то приятели Дани, в том числе упомянутый Элияну Паз. Шестой (камера была на 6 человек) был Дракон. Это его кличка, имени не знаю. Я никогда с ним не сталкивался, но так, как мне его описывали многие, это был антипод Дани, хотя и не по тем линиям, что Турку. Он был огромен, колоссально силен физически, примитивен, жесток и весь выстроен на силе. Он

был восходящая звезда преступного мира, свое восхождение строил только на силе и жестокости и не принимал никаких других отношений с сотоварищами кроме беспрекословного подчинения ему. Своему лучшему другу, позволившему себе малейшее возражение ему, он, как говорят на тюремном сленге, «открыл пенсы» на спине. Пенсами а Израиле называют разрезы на брюках типа клеш, чтобы они полоскались еще шире – была такая мода. Так вот он распполосовал ему спину ножом двумя разрезами от шеи до копчика, так что кожа развалилась на стороны.

Что могло произойти при объединении Дракона с ребятами типа Дани и Паза в одной камере должно было быть понятно даже ребенку, не говоря про тюремное начальство и самих этих ребят, которые были отнюдь не ребята в своем деле. То, что в этом объединении была рука начальства, у меня не вызывало сомнения. Хоть, как правило, оно препятствует таким объединениям, заботясь о статистике и, как я сказал, имея на то инструкцию, но я знаю не один и не два случая, когда начальство специально сажало кровников (действительных или потенциальных) в одну камеру, чтобы свести таким образом счеты с одним из них или с обоими, если таковые у него имелись. Могу только представить себе, что игра начальства была построена на самолюбии обеих сторон. Одним сказали: «А вы боитесь Дракона». Другому: «А тебе слабо против этих». Может быть ребята думали, что Дракон испугается их численного превосходства и откажется от намерения подчинить их силой. Но Дракон иначе не умел, не хватало извилин. Кончилось все тем, чем должно было кончиться.

В одну «прекрасную», как говорят в романах, ночь, тюремщики услышали звук из этой камеры, похожий на стук падения тела. Подбежав и включив свет наружным выключателем они увидели огромное тело Дракона лежащее посреди камеры в луже крови. Остальные сидели на своих нарах одетые, поджав ноги в полностью зашнурованных кедах. Зашнурованные кеды в израильских тяжелых тюрьмах это тоже, что боевая раскраска у североамериканских индейцев. Я помню как еще в бытность мою новичкам, во время прогулки один зэк сказал мне: «Сегодня будет большая драка». «Откуда ты знаешь?» – спросил я. «Ты, что, не видишь что все в зашнурованных кедах». Обычно израильские зэки ходят по двору или босиком или в шлепанцах. Кеды одевают, да еще зашнуровывают только те, кто играет в футбол или баскетбол, если таковое имеет место. Но когда предстоит экшн, то важна каждая мелочь и поскользнуться в решительную минуту или упасть, наступив на шнурки собственных кед – может слишком дорого стоить.

После убийства всех пятерых распихали по отдельности по таким местам, где бы они не могли иметь связи между собой. Дани оказался у нас. Он был все такой же мягкий, доброжелательный ко всем. Однажды только, между прочим, он сказал мне: «До сих пор мои дочери не осуждали меня. А вот вчера звонила старшая и сказала: «Папа, на сей раз ты зашел уже слишком».

Первая камера

В тусклом свете электрической лампочки, освещавшей тамбурок между двумя камерами, было видно, что двери той, которую открывали для меня, обильно залиты чем-то густым, темно-красным, липким на вид. Без очков разбитых в драке, при плохом освящении я принял это за кровь. Это впечатление при другом душевном состоянии способное изрядно взволновать, тут только скользнуло по поверхности сознания. Переживание случившегося до этого блокировало душу и разум.

Случилось же то, что в драке против нескольких человек, напавших на меня, в ситуации безвыходной, когда один из нападающих висел у меня сзади на локтях, а его брат вот вот должен был ударить меня ножом в живот, я применил оружие – пистолет, на который у меня было разрешение, и ранил того, что с ножом. Мысли о том, что у меня не было другого выхода, что пострадавший сам виноват, что в конце концов даже в этой ситуации я не хотел его ранить, стрелял не на поражение, а в пустое пространство для отстрастски и что пуля попала в него только потому, что его брат не давал мне поднять руку вверх, да еще дернул за нее в момент выстрела, все эти мысли, которые со временем вернули мне душевное равновесие, пока еще не работали, не могли пробить потрясение от того, что я своей рукой серьезно ранил человека. Это состояние, как ни странно, смягчило мне вход в тюремную жизнь.

Камера, в которую меня ввели была примерно 2 на 3. Вплотную к стене стояли двухэтажные нары, через пол метра от них вторые такие же и между ними и наружной стеной оставалось еще сантиметров 40. Изголовья нар упирались в боковую стену, а между изножьями их и еще одной боковой стеной было свободное пространство шириной где-то метр двадцать, простирающееся от входной двери до туалета в углу. Когда меня ввели, в камере было 4 человека – по числу мест на нарах. (В дальнейшем в нее набивали по 10 и более зэков, так что не только не хватало места лежать, хотя бы на полу, но и сидеть). Единственное маленькое окошко под потолком было зарешеченным и не открывалось. Дверь же, хоть и была лишь до половины сплошная железная, а выше забрана прутьями, но выходила, как сказано в маленький тамбурок, а он закрывался сплошной дверью. Так что почему мы не задыхались совсем, мне до сих пор не ясно, но дышалось там не без труда.

Была уже ночь, когда меня ввели в камеру. Мне бросили матрац и предположили расположиться где хочу. Я выбрал проход между вторым рядом нар и наружной стеной, кинул туда матрац, упал на него и измученный пережитиями и волнениями дня довольно быстро уснул. Через какое-то время я проснулся оттого, что кто-то тряс меня за плечо. Это был парень с ближайших нар. Тоном повелительно-пренебрежительным он сказал мне, что я храплю, мешаю ему спать и чтобы я не смел этого делать. Погруженный в свои переживания я не думал о том, как отреагировать на хамский тон и о возможных последствиях моей реакции. Я хотел только, чтобы меня не беспокоили и не мешали спать. Я извинился, сказал, что постараюсь не храпеть и снова заснул. Через некоторое время он снова разбудил меня и история повторилась. На третий раз я ответил что-то резкое. И на этот раз я не обдумывал ответа. Это по прежнему была реакция организма жаждущего покоя. Но на сей раз результат был положительным и я мирно доспал до утра.

Однако последствия этой ночной истории все же были. Ночью этот парень не разглядел меня, точно также как я его. Как это принято в тюрьме при контакте с новым незнакомым человеком, он демонстрировал свою «крутизну». Наткнувшись на резкий отпор, он отступил, но лишь для того, чтобы в свете дня оценить соотношение сил и решить, что ему делать. Этот свет высветил ему в моем лице фраера, т. е. не уголовника, к тому же интеллигента. Правда, я превосходил моего противника в росте и весе, но в уголовном мире принята аксиома: любой уголовник должен победить любого фраера. К тому же Нуха, как звали его, несмотря на свой

юный возраст – 19 лет, был уже восходящей звездой уголовного мира, пусть не всеизраильского, а местного рамльского, и за его спиной уже волочился шлейф «славных дел». Авторитет и слава обязывают и в уголовном мире они обязывают гораздо больше чем в обычном. Подозревая, что наш ночной разговор мог быть услышан сокамерниками, Нуха хотел «смыть позор» и стал «искать» меня. Я, однако, погруженный в себя, о ночном разговоре на другое утро забыл, а Нухины придирки не проникали в мое сознание и я реагировал на них вяло и неагрессивно, но и без требуемого Нухе страха, трепета и самоуничижения. Наконец, еще через день Нухе все-таки удалось заставить меня выглянуть из своей скорлупы, но все еще, как бы не совсем проснувшимся. Не слишком соображая, что я говорю, я бросил ему «маньяка». Маньяк на израильском сленге, не только уголовном, но и всенародном, понятном каждому израильтянину, означает педераст. Не буду вдаваться в этимологические исследования, почему во всем мире «маньяк» это человек, одержимый какой либо манией, а в Израиле – это педераст, но это так. И я, конечно, знал это, хотя решительно не вкладывал в свои слова этого израильского смысла. Помимо общей моей заторможенности срабатывал на заднем плане российско матерный культурный фон. В русском языке ведь употребляя, скажем «… твою мать», ни говорящий, ни слушающий, решительно не имеют в виду исходного смысла этих слов. Но ивритский матерный сленг гораздо моложе русского и соответствующие слова там далеко еще не успели так отпрепарироваться от их первоначального смысла, чтобы ими можно было пересыпать свою речь в качестве украшения, как петрушкой жаренного поросенка. Был, например, случай, когда в телевизионных дебатах один член парламента обозвал другого маньяком, так весь Израиль шумел по этому поводу целый месяц, а журналистская братия просто на уши становилась, изгаляясь и изощряясь в изысканиях, употреблено ли было это слово в общеевропейском или сугубо израильском смысле. В тюрьме же это – самое страшное оскорбление. Поэтому Нуха дернулся как от удара, побледнел и сказал мне голосом ровным, но за которым ощущалась могила: «Ты знаешь, что ты мне сказал, и что в тюрьме за такие слова делают?» Я все еще погруженный в себя, не врубаясь в ситуацию, ответил: «А что, ты собираешься со мной драться?» Это вовсе не было с моей стороны вызовом на бой, демонстрацией презрения к противнику и т. п. Я просто ляпал что-то, думая все еще о другом. Но совсем не так воспринимала мои слова камера, которая, оказывается, давно и пристально следила за развитием конфликта. Когда я произнес эти слова, я вдруг услышал за своей спиной негромкий, но дружный и иронический смех, эдакое хе-хе-хе. И когда обернулся, увидел что ирония относится явно не ко мне, а к Нухе. В мою пользу сработало мое неведение и погруженность в себя. Вообще то неведение и заторможенность и в обычной жизни мало способствуют успеху, в тюрьме – тем более и мне в дальнейшем еще ой как много пришлось платить за незнание и непонимание тюремной жизни и психологии ее людей. Но бывает, что именно неведение проносит человека невредимым меж тех опасностей, сквозь которые ни за что бы не продраться ему, знай он о них и рассчитывай свои действия. Моя заторможенность, мое несоображение, чего я верзу и к чему это может привести, воспринимались камерой как холодное бретерство, крутизна высшего класса.

Наконец, в мою пользу сработала еще одна случайность. На следующий день после моего вселения, к нам в камеру водворили еще одного зэка, который был свидетелем моей драки. Он не узнал меня и начал эмоционально делиться с сокамерниками впечатлениями о виденом им вчера событии, о том, как там на одного напали, как он крутился на месте с тем, что висел у него сзади на локтях, защищаясь его телом от грозящего удара ножом, как в последний момент, когда казалось уже не уйти, он умудрился все же достать пистолет и выстрелить. До сих пор я не слишком вслушивался, о чем они говорили. Но его слова попали в резонанс моим мыслям и я тут же отреагировал, сказал, что к сожалению это именно я тот, кто стрелял, что я не хотел попасть, что я этим ужасно мучаюсь. Вся эта совестливая часть моей речи пролетела начисто мимо ушей аудитории. Ее эти проблемы мало волновали. Кроме того это просто азбучная истина для тюремной публики, что каждый свежепосаженный громко клянется, что его поса-

дили ни за что, что это не он, ну и уж в крайнем случае он этого не хотел. (Потом уже в своей проверенной среде он расскажет не только как было, но и еще наврет с три короба, преувеличивая деяние.) Так что мои сожаления, а тем более сама история воспринимались публикой как свидетельство того, что я не такой уж фраер, а может и вообще не фраер. Тем более, что я не местный, а из России, а кто его знает, как там выглядят крутые. Мои необдуманные ответы Нухе лишь укрепляли их в этой мысли.

Уголовники – великолепные психологи и интуитивисты. Сам хищный их образ жизни вырабатывает в них это. Кстати, эти их качества, помимо знания всяких нечестных приемов, хитрости и коварства, дают им то преимущество в драке, которое и породило среди них вышеупомянутую аксиому. Они умеют психологически подавить, запугать противника, или, наоборот вывести его из равновесия, заставить проявить неосторожность. Но в ситуации, когда камера была за меня, психологическое преимущество Нухи сводилось на нет. И Нуха, как уголовник уже опытный, мгновенно на это отреагировал. Нет, он, конечно, не поджал хвост, этого он себе не мог позволить, но изящно славировал, уклонившись от моего ненамеренного вызова на бой. Он сказал: драться я не буду, но я сделаю нож и пырну тебя.

Я тогда и понятия не имел насколь велика фантазия зэков по части изготовления ножей – заточек из самого невообразимого подручного материала, который может оказаться в камере, и насколь она превосходит служебную мысль тюремщиков, направленную на то, чтобы в камере и вообще в тюрьме не было ничего такого, из чего эти заточки можно было бы изготовить. Эта служебная мысль додумалась, например, до того, что нары, которые в России (во всяком случае в романах) деревянные, а Израиле железные, а проволочную сетку в них заменяют полосы железа, приваренные к раме снизу вдоль и поперек. Полосы такой ширины и толщины, что из кусков их можно делать не просто заточки, а вполне приличные финки и при желании даже кортик. Конечно, никакому нормальному человеку не пришло бы в голову выламывать голыми руками кусок такой приваренной ленты. Но зэкам не приходят в голову большинство мыслей нормальных людей. Зато над такими ненормальными как раз и трудится их пытливый ум. И времени и для размышления и для исполнения у них неограниченно и, главное, как правило, нечем его занять. И длинными, зачастую бессонными ночами, запустив руку под собственное ложе зэк дергает и гнет эту полосу пока, наконец, не отломает один край ее. Отломать второй, когда один уже освободился – дело плевое. Ну а заточить отломанный кусок об цементный пол – это уже не проблема. Можно запершись в туалете и опустив затачиваемый конец под воду, которая глушит звук, заточить его так, что даже никто из сокамерников не будет знать, что ты уже обзавелся оружием. Что обычно и делается. И только в канун великих побоищ, когда нет времени на сокрытое изготовление заточек, да и смысла в сокрытии уже нет, ночью из всех камер слышится дружный визг железа, трущегося по бетону.

Ничего этого, как я уже сказал, я тогда еще не знал, поддержка же камеры настраивала меня на еще более бездумное отношение к делу. И невольно входя в навязываемую мне роль, я сказал Нухе уже не без издевки: «А что, нож ты из туалетной бумаги сделаешь?» Дружное ржание подтвердило, что мой ответ понравился. Продолжая лавировать, отступая, Нуха сказал: «Нет, но вот видишь эту швабру? Ночью, когда ты будешь спать, я могу сломать ее и острый конец обломка воткнуть тебе в живот».

Это показалось мне несерьезным, эдаким шутливым окончанием конфликта в обществе джентльменов. Я рассмеялся, подчеркнуто показывая, что оценил его шутку и на этом инцидент вроде бы исчерпался. Последующие довольно бурные события в камере, мои переживания, которые еще далеко не улеглись и новые, связанные с тем, что следствие по моему делу развивалось совсем не так, как я ожидал, и надо мной сгущались грозовые тучи, все это заставило меня вскоре начисто забыть эту историю с Нухой. Тем более, что в этой моей первой камере была довольно дружная атмосфера, пожалуй, как ни в какой другой впоследствии и опять же, как никогда впоследствии я вписался в эту атмосферу и в ней и мы и Нухой сдру-

жились. Но какова была все же моя наивность того периода, я понял лишь, когда дней через 20 Нуха покидал нашу камеру предварительного заключения, отправляясь уже в тюрьму. Прощаясь со всеми, он, когда дошла очередь до меня, протянул мне руку в которой было что-то зажато и сказал: «А это тебе, на память». Когда он раскрыл ладонь, я увидел на ней небольшую железку, плоский ключ типа английского, но раза в полтора-два больше, остро заточенный с одного края. «Помнишь, тогда вначале мы с тобой поцапались? Я тогда отточил этот ключ и хотел ночью порезать тебе лицо. Ну а потом передумал» – сказал он просто, не умея сказать, что потом мы ведь подружились. Да и не приняты в этой среде такие сентименты.

Дружная атмосфера этой камеры и то, что мне удалось в нее вписаться, были не случайны. Камера, в которой я сидел, и вторая, через тамбурок были при полицейском участке Рамлы – маленького, захолустного, провинциального городишки, с патриархальным укладом жизни, где все всех знают, а уж тем более те, что избрали себе судьбу уголовников. Их добровольная (или недобровольная) противопоставленность остальному обществу и малое их число в маленьком городишке, приводили к тому, что все они были практически друзьями детства. И это смягчало характер отношений в их среде по сравнению с большим преступным миром.

Разницу между маленьким «семейным», Рамльским уголовным миром и большим общеизраильским, жестоким и беспощадным, я познал впоследствии на собственном опыте. Но уже в этой камере я наслышался об этом, когда бывалые уже посидевшие уголовники делились опытом со своими товарищами, впервые попавшими за решетку, и готовили их к испытаниям «большой» тюремной жизни. И лица ребят уже показавших себя в деле, но еще не закаленных тюрьмой, бледнели от этих рассказов. Один парнишка участвовавший в ограблении банка, в качестве водителя, с драматической гонкой со стрельбой, в которой он по свидетельству товарищей проявил мастерство и хладнокровие (что впрочем не спасло компанию), наслушавшись этих рассказов, перед отправкой его в тюрьму плакал как ребенок. Не случайно именно тюрьма (большая тюрьма), а не воля является тем ристалищем, на котором окончательно устанавливается иерархия, табель о рангах уголовного мира. И не один авторитет, лихой и крутой на воле до первой посадки, проверки тюрьмой не выдержал.

Отпечаток провинциальности, патриархальности, «семейности» лежал даже на их противостоянии прочему миру, в частности предписанной неписанными канонами войне с их антиподами – полицейскими. Полицейские их и они полицейских знали, как правило, с детства, бывали еще и семейные и соседские связи. Это придавало войне несколько водевильный характер.

Уже на другой день после описанного инцидента с Нухой камера объявила коллективную голодовку по причине якобы плохого питания. Парадокс был в том, что питание на самом деле было просто великолепным, причем не только для тюрьмы, но и для воли. В дальнейшей моей тюремной эпопее я мог лишь мечтать о таком. Объяснялось это тем, что, по непонятным мне причинам в помещении рамльского полицейского участка находился также штаб центрального округа Израиля. И для офицеров этого штаба при участке была кухня. Не знаю, положено ли бесплатное питание для всех полицейских в Израиле, но для этих это было так. А чтобы не делать еще одной кухни и не готовить отдельно для небольшого количества задержанных подследственных, нас кормили с той же кухни теми же блюдами. Мало того, господа офицеры то ли не могли все съесть, для них приготовленного, то ли они не всегда там бывали, но часто зэки, желающие добавки могли получить дополнительную порцию. Я что за порции и что за блюда там бывали. Курица была не просто курицей, а цыпленок табака и порция была пол цыпленка. Халвы выдавалось по стограммовой пачке в день на зэка, но часто сверх этого приносили большую тарелку этих пачек. Каждый день в камеру поступала слегка начатая двухлитровая консервная банка повидла. Такого количества повидла мы не в состоянии были съесть и большая часть его попадала в туалет непереваренной, а иногда этим повидлом кидали

в приносящего нам пищу полицейского. Это то повидло я и видел на дверях камеры, в день моего вселения.

Вот на таком питании камера потребовала его улучшения. Я не понимал за что боролись и попытался убедить их в бессмысленности протеста. Но когда мои усилия оказались тщетными я все же присоединился. Был ли в этом смысл или нет, но быть штрейхбрейкером я не хотел.

Сама акция объявления голодовки происходила так: Когда полицейский принес нам пищу, которую он на подносе вдвигал на половину в специальное окошко в двери, держа его с другой стороны пока зэки не разберут свои порции, каждый подходил и швырял свою тарелку ему в лицо. Я, правда, старательно кинул мимо. Полицейского звали Сами. Сами – это не просто распространенное в Израиле имя – это еще имя нарицательное. По какой то странной причине почти все обладатели этого имени являются неисправимыми добряками, размазнями и простофилями. Этот Сами был классический экземпляр породы, к тому же в рамльском исполнении. Он вообще был не в состоянии грозно орать, подавлять жестко холодным тоном и т. п. И его просто невозможно было представить в роли типичного мента произносящего чего-нибудь вроде: «Гражданин, пройдите на меня». Помимо того, что он приносил нам пищу, он приходил и просто так потрепаться со знакомыми и с незнакомыми тоже. При этом он запросто выбалтывал служебные тайны о том, как идет следствие по делу тех, к которым он был приставлен как представитель закона и на страже оного. Он даже не подозревал, что он делает что-то не так. Мне он рассказал, что мой следователь ходит по Рамле в обнимку с братом пострадавшего и настраивает свидетелей давать показания против меня, включая тех, кто ничего не видел. Когда тарелки полетели ему в лицо, Сами не отпуская подноса только закрылся другой рукой и произносил жалобно: «Эй, ребята, ну что вы! При чем здесь я? Я сейчас передам начальству, чего вы хотите». Самое странное, что после всего мы получили прибавку еще чего-то в рационе. Кажется, маслины.

Мое участие в этой забастовке сослужило мне хорошую службу. Вскоре к сообщению Сами о моем следователе добавилось подтверждение от моего адвоката о том же с добавлением, что одновременно идет запугивание действительных свидетелей, могущих свидетельствовать в мою пользу. Я еще при аресте, сказал полиции, что заинтересован в установлении истины и назвал имена, частью с адресами около 20 свидетелей происшествия, которых я знал (а в общем к концу драки народу набежало человек 50). На ближайшем допросе я спросил своего следователя, нашел ли он этих свидетелей и взял ли у них показания, и услышал, что ни одного из них он найти не может (несмотря даже на полученные адреса). Создавалось впечатление, что мне «шьют» дело об умышленном покушении на убийство. Я потребовал встречи с начальником полиции, чтобы добиться снятия показаний со свидетелей из моего списка. Получил отказ. И тогда, вдохновленный примером товарищей я решил объявить свою голодную забастовку. В очередной раз, когда Сами принес обед, я первым подскочил к двери и бросил в него тарелку, заявив, что требую встречи с начальником. Неожиданно следующий зэк тоже бросил свою тарелку и заявил, что присоединяется к моей забастовке. Несмотря на мои протесты и увещевания: «Зачем же ребята, это ведь мое личное дело!» все сокамерники сделали то же. И!.. сила коллектива победила. Я был принят начальником.

Начальник, в отличии от Сами, да и моего следователя, выглядел не по рамльски, а весьма интеллигентным, отшлифованным культурой человеком. Он встретил меня очень вежливо и мягко, сказал, что мне совершенно не о чем беспокоиться и до окончания следствия, со всех названных мной свидетелей будут сняты показания. И провел меня как интеллигентного фраера, клюнувшего на его интеллигентные манеры и тон. Я поверил и успокоился и только когда окончилось следствие и мне было предъявлено обвинение, узнал, что ни одно показание с моих свидетелей так и не было взято. Мало того, эти свидетели уже были запуганы настолько, что

когда мой адвокат, во время следствия не имеющий права допрашивать свидетелей, получил, наконец, такую возможность, ни один из них уже не отважился свидетельствовать.

В этой камере мне повезло не только с дружной и доброжелательной (по тюремным маркам) атмосферой но и с колоритными личностями. Сидел там, например, бывший король Эйлата. Естественно не самого города Эйлата, который никогда не был государством и никаких королей там в помине не было. Это был экс король эйлатского преступного мира. Положение экс короля в преступном мире, даже патриархальном рамльском существенно отличается от положения английской королевы-матери при царствующем сыне. Передача власти в преступном мире происходит вовсе не династически узаконенно, а в кровавой борьбе, в которой бывший король не просто перестает быть королем, а, как правило, вообще перестает быть, т. е. отправляется на тот свет. Если же он остается в живых, то ни на какие почести с признанием его былых «заслуг», ни на какие рудименты власти и положение в иерархии ему от нового короля не приходится рассчитывать. Его положение в иерархии опускается ниже тех, кто раньше был его вассалами и даже шестерами. Лучше же всего ему просто покинуть места былой славы и величия.

В положении такого экс короля есть интересный парадокс. Преступный мир в чем то смахивает на мир детский или точнее мир детства человечества. Этот мир и в наш атомный век продолжает творить свои мифы и легенды и характер их в общем тот же, что был на заре человечества. Это повествования о героях, битвах и походах былых времен, начисто лишенные морализаторства, философствования, попыток кого-то за что-то судить или оправдывать. Это что-то вроде исландских саг, все содержание которых сводится к тому, что в таком то году Эрик Олафсон собрал дружину, пошел в земли Олафа Эриксона и истребил там всех мужчин старше 13 лет. Через несколько лет подросший сын Олафа Эриксона собрал дружину, пошел в земли Эрика Олафсона и также истребилл там всех мужчин старше 13 лет. И т. д. Причем нет сомнения, что все эти Эрики Олафсоны и Олафы Эриксоны также как Ильи Муромцы и Алеши Поповичи это все реальные личности и славные дела их не выдуманы от нуля, хотя могут быть преувеличены и приукрашены. Преступный мир подобным же образам творит подобные же мифы и легенды, только писанных летописей не ведет, но в памяти и устной передаче сохраняет их на много поколений. Еще до посадки мне приходилось слышать и даже в газетах читать (иногда эти мифы выходят и за пределы преступного мира) о «славных» делах некого Фаркаша, совершившего 11 не то 14 побегов из тюрьмы еще во времена мандата, т. е. до возникновения государства Израиль. Деяния бывших королей, естественно, хранятся в устной уголовной летописи, а имена их там овеяны славой. Парадокс же в том, что вы можете услышать от уголовника повесть о славных делах некого экс короля, а затем, оказавшись в одной компании с рассказчиком и экс королем увидеть, как первый беспардонно «облокачивается» об второго и говорит ему что-нибудь вроде: «Эй ты, козел, твое место возле параши». Былая слава не забывается, но она отделяется от ее носителя, она уже не дает ему никаких преимуществ. Уголовный мир – мир силы, сила же это та, которая сегодня сила, а не вчера была таковой.

К счастью в смягченной патриархальностью атмосфере нашей камеры никто не говорил экс королю, что «его место возле параши». Ему даже немножко подыгрывали, изображая как-будто и сейчас он еще чего-то может. (А было ему, кстати, всего лет 40, хотя выглядел он значительно старше). Но в ситуациях мало-мальски обостренных, я заметил, никто уже его всерьез не принимает. Никто уже не хотел и слушать его рассказов о его же былых делах и величии, хотя сами могли о них рассказывать какому-нибудь новичку вроде меня. Зато я оказался благодатным слушателем и прямо таки раззевал рот, слушая как он один с ножом в руке врывался в стан врагов, разил направо и налево и т. п. И какая тогда в Эйлате была изумительная жизнь, не то что сейчас. Вообще весь уголовный мир ныне обмельчал и т. д. Мой раззинутый рот был просто бальзам на его душу.

Конечно, никакая дружная атмосфера не превращала тюремную камеру в детский сад или английский клуб джентльменов. Я уж не говорю о том факте, что мы были заперты безвылазно в тесном и смрадном помещении и над каждым висело неясное и угрожающее будущее. Были там и другие «прелести» тюремной жизни и одна по крайней мере в этой первой моей камере была даже концентрированней, чем в последующей нормально тюремной жизни. Прелесть эта – наркоманы. Вообще в Израиле как и на всем Востоке наркомания распространена больше чем в России, и вообще Западе, а алкоголизм – меньше. В уголовной среде процент наркоманов и алкашей, естественно, выше чем в обычной, а уж употребляют практически все. В израильскую тюрьму наркотики проникают ну не так чтоб уж совсем свободно, но довольно обильно. Работает и бесконечная изобретательность уголовников и коррумпированность охраны и тюремных властей. Каждый зэк получивший 1—3х дневный отпуск домой, а таковой полагается отбывшему пол срока и не имеющему серьезных нарушений режима, просто обязан притащить хотя бы грамм наркотика из чего можно сделать довольно много порций. Способов сокрыть его от тщательной проверки есть множество, но не буду их раскрывать, дабы не превратить рассказ в интструкцию по распространению наркотиков. И все-таки количество наркоты, поступающей в тюрьму, значительно меньше спроса и поэтому там мало-кто нагружается до классически известных и мало приятных состояний наркотического отключения. В камеру же предварительного заключения люди попадают с воли и многие из них в этом самом состоянии. Мало того, у человека, который сидел, скажем, на героиновой игле, а попав в камеру лишился подпитки, наступает так называемый «криз» или ломка. Он бьется в истерике, крушит все вокруг себя, орет не прекращая в течении 2х-3х суток. Но и это еще не все. Даже те зэки, которые попадают в камеру полицейского участка не накачанные наркотиками, считают себя обязанными изобразить что они в «кризе». Ибо по их понятиям не употребляет только тот, у кого нет для этого денег, а денег нет у того, кто слабак, не может их добыть. В результате практически каждый новоприбывший (а в к. п. з. сменяемость населения частая) часами а то и сутками висит на дверях колотит в них ногами и чем попало, требует у охраны, чтоб ему дали валиум или еще чего-нибудь в этом роде, что по мнению уголовников снимает или облегчает криз, и не дает никому ни минуты покоя, в том числе и ночью. Это доводит до иступления и желания взять швабру и обломать ее об голову этого действительного или мнимого наркомана, дабы он успокоился. Но нельзя, ибо наркоман в израильском уголовном мире это тоже, что пьяный в России или священная корова в Индии. Ему надо сочувствовать, сострадать, помогать по возможности и параллельно вспоминать как ты и сам бывал в таком состоянии и как тебе и сейчас хочется чего-нибудь хоть валиума. Я однажды, не выдержав, с сарказмом сказал, кажется, Нухе, что если наковырять со стенки известки, то это тоже помогает, почти как валиум. Нуха воспринял это на полном серьезе, тут же наковырял и съел. Вслед за ним попробовали и остальные и все уверяли, что помогло.

Бывали там, конечно, и эксцессы, хотя не так густо как в общей тюрьме (тяжелой) и к счастью ни один из них не дошел до крови. Но был один, который мог окончиться весьма плачевно. Привели однажды некого гастролера, неизвестно как оказавшегося в Рамле и чего тут натворившего. Это был огромный и буйный детина, которого с трудом волочили трое полицейских. Уже в тамбурочке, вдохновленный наличием аудитории, он дал последний бой и хорошо врезал одному полицейскому. В наказание они приковали его наручниками к прутьям нашей двери снаружи, отлупили дубинками и ушли. Это его не успокоило. Он ревел как раненный динозавр и бился так что казалось вот вот вырвет двери. Через несколько часов его отковали и водворили в соседнюю с нами камеру. Но и там он не успокоился и продолжал орать, бузить и чего-то требовать от полицейских. Так продолжалось несколько часов, а потом ему пришла в голову оригинальная идея. В израильских тюрьмах наработано много форм протеста, с помощью которых зэки пытаются выколотить из начальства удовлетворение каких-то своих требований. Помимо принятых во всем мире голодных забастовок и бунтов с захватом

охранников в заложники или без оного применяются индивидуальные и коллективные вскрытия вен. В беершевской тюрьме как раз в период моей отсидки вскрыли себе вены одновременно 150 человек. Применяется ширяние ножом своих сокамерников просто так ни за что, для того лишь, чтоб начальство выполнило требования ширяющего. Применяется, наконец, поджигание в камере паралоновых матрацев, от которых идет ядовитый и удушающий дым. Все эти методы вредны, опасны и отдают мазохизмом, но, как мы знаем, к голодным забастовкам, например, прибегают не только зэки уголовные, но и политические и не только зэки. Динозавр, как я его окрестил про себя, решил прибегнуть к методу поджигания матрацев. Но он оригинально модифицировал этот метод. Вместо того, чтобы поджечь свой собственный матрац или хотя бы матрацы в своей камере, он стал требовать, чтобы мы в нашей камере подожгли матрацы, чтобы полиция удовлетворила его требования.

Такая наглость, конечно, возмутила меня, но я молчал, полагая, что в камере, где есть бывшие короли и прочие авторитеты, мое слово последнее. Казалось бы, что как ни страшен «динозавр», но поскольку нас от него отделяют двое дверей с замками, то чего нам его бояться. Но бывший король Эйлата молчал, как задница, остальные слабо пищали что-то мало вразумительное и только Нуха пытался вести какие-то дипломатические переговоры, предлагая вместо поджога матрацев затопление камеры с помощью затыкания очка, оно же сток воды в туалете и открытия крана. «Динозавр» не соглашался и я видел, что дело клонится к тому, что ребята таки подожгут матрацы. Позже, уже умудренный тюремным опытом, я понял, чего боялись мои сокамерники. Конечно, сейчас он не мог добраться до нас. Но ведь впереди у них была тюрьма и там встреча с «динозавром» была вполне возможной. Типы же вроде «динозавра» хорошо запоминают «обиды» и «ущербы» их маниакальному величию и жестоко мстят обидчикам и много времени спустя. Тогда я этого не знал, зато наверное, лучше, моих сокамерников понимал опасность поджога паралоновых матрацев в камере начисто лишенной доступа свежего воздуха. Мы могли задохнуться еще до того как прибежали бы полицейские. Кроме того на другой день меня должны были везти в суд на предмет продления срока пребывания в к. п. з. под следствием. И чувствуя, что мне нагло шьют дело, я хотел использовать встречу с судьей, чтобы как то защитить свои интересы, но для этого нужно было хорошо обдумать, что сказать судье. (Позже оказалось, что мне там сказать вообще ничего не дали). А о чем можно было думать под рев «динозавра», а тем более после поджога матрацев?

Но главное было даже не в этих рациональных построениях рассудка. Просто волна гнева на наглость «динозавра» медленно поднималась во мне, растапливая страх и благоразумие, пока не прорвала, наконец, преграду, вырвавшись из моего горла речью дерзкой и с медью в голосе. «Эй ты, подонок – сказал я ему с расстановками и акцентированием. – Если ты хочешь поджигать матрацы, то поджигай у себя в камере. И заткни свое е-о, мне надоело тебя слушать. У меня завтра суд и мне надо готовиться». И произошло чудо – «динозавр» заткнулся.

Позже я понял, что результат не был связан с тем, что «динозавр» меня не видел и мог предположить, что имеет дело с большим авторитетом. «Динозавр» был из тех отморозков которые не останавливаются не перед какими авторитетами. Дело в том, что я говорил исполненный той крайней решимости, когда и меня ничто бы уже не остановило, не только знание возможности встречи с «динозавром» в тюрьме, но и пребывание сейчас с ним нос к носу. Решимость сама по себе грозное оружие. Ее как правило чувствуют все, но уголовники, как представители мира хищников, особенно (также как и нерешительность).

И все таки эта камера была оазисом в тюремной пустыне человеческих душ. Помню, когда на 11-й день пребывания моего там пришел адвокат и принес мне весть, что человек, которого я ранил, умер в больнице (хотя рана его была отнюдь не смертельна и умер он от обширнейшего гнойного абсцесса, которого в современной больнице при свежем пулевом ранении никак не должны были допустить), я был ошеломлен тем, что я теперь не просто ранил своей рукой человека, но убил его. О том, какими последствиями это изменение чревато для

меня, я в тот момент не думал. Но когда я вернулся в камеру, я увидел, что один из зэков, Амос, горько плачет уткнувшись в подушку. Я подумал, что пока я выходил к адвокату может быть и ему пришло тяжелое известие и спросил его об этом. «Да нет, – сказал Амос – мы уже знаем, что тебе сказал адвокат (наверное им успел сообщить Сами). А плачу, потому что теперь ты пропадешь». Он имел в виду, что теперь мне без сомнения дадут большой срок, и я, не зная законов тюремной жизни и вообще уголовного мира, не вытяну его. (Кстати, как позже я узнал, такого же мнения были и большинство моих друзей и моя тогдашняя жена).

Конечно, Амос был особый случай даже в патриархальной уголовной среде. Я не помню, за что именно он сидел, но по сути он вообще не был уголовником. Правда, он очень хотел казаться одним из братвы. Он постоянно панибратски хлопал всех по плечам, а во всякого рода коллективных акциях протеста, впрочем достаточно безопасных, как я потом понял, вроде упомянутой голодной забастовки, Амос был даже заводилой. Так что поначалу я принял его чуть ли не за пахана. Но в действительности Амос был обыкновенный парикмахер. Скучная не романтическая профессия в скучном захолустном городишке, в котором абсолютно ничего не происходит, кроме там и сям краж и ограблений. И об этих кражах и ограблениях только и точат лясы обыватели. А герои этой «романтической» жизни – это друзья детства Амоса, которые у него же и стригутся, причем бесплатно. И за это они немного посвящают его в свои дела и позволяют панибратски похлопывать себя по плечам. А ему очень хочется казаться принадлежащим к их среде, посвященным по крайней мере, а может, могут подумать окружающие, иной раз он с ними ходит на дело. Он чувствует, что часть их романтического ореола ложится и на него.

Жена, которая, так ему кажется, до этого слегка презрительно относилась к нему, начинает проявлять опасение, что эти друзья и его втянут в нехорошее. Она его ругает, но он чувствует, что авторитет его в ее глазах безусловно поднялся. И ему хочется закрепить это положение. Ну украду чего-нибудь по мелочам решается он, много не дадут, не больше года. Зато потом всю оставшуюся жизнь можно будет чувствовать себя уважительно. О том, что его могут не поймать, он даже не думает. Он и не собирается делать так, чтобы его не поймали. Его это не устраивает. Ведь тогда об этом никто не узнает и придется ходить на дело еще и еще. Ну его к черту.

Но хоть Амос и не типичный представитель этой среды, его плач, его переживания за меня весьма характеризуют не только рамльскую братву но и уголовную среду в целом. Ведь Амосу, горько переживающему из-за меня, как и всей остальной братии было совершенно наплевать на то, что я убил человека. Да и на обстоятельства этого дела, которые для меня то единственно и служили самооправданием, им тоже было наплевать. Ну это, правда, не совсем, но в немалой степени. Главным же было то, что убитый для них был совершенно чужим, просто неким абстрактным человеком. И это как раз и есть главное в уголовных людях – практически полное неприятие и даже непонимание, отключенность от абстрактной общечеловеческой морали. Они как бы застряли на ранней стадии развития человечества, ближе к животным. Зато конкретные чувства, скажем, дружбы к конкретному человеку они способны чувствовать пожалуй острее чем средний, «испорченный» культурой человек. (Зависит, правда, какой культурой, и лучше было бы сказать цивилизацией).

Вспоминается мне и еще один случай характеризующий отчасти уголовную среду в целом, но больше рамльскую патриархальную. Однажды поздно вечером к нам в камеру ввели высокого поджарого старика. Водворившие его полицейские были явно в игривом настроении и похихикивали. Мои сокамерники тоже встретили его оживленно радостно, хотя за их улыбками чувствовалось легкое лукавство. Он же истово с глубоким чувством со всеми переобнимался и облобызался. И зажурчала дружеская, негромкая, но оживленная, благостная беседа. Я в ней не участвовал и вскоре завалился спать на верхних нарах, но, просыпаясь, чтобы пере-

вернуться с боку на бок, я слышал это журчание и оно и на меня действовало благостно и успокаивающе и я засыпал еще крепче.

Оказывается старик этот был, если можно так выразиться, уголовник на пенсии. Интересна вообще судьба стареющих уголовников. Уголовный мир, как я сказал, – мир силы, а сила к старости уходит. Лишь очень немногие, причем большие калибры, доживая до старости (если доживают), продолжают этот образ жизни, сохраняя к тому же позиции. Подавляющее большинство уходит в другой мир, или в лучший – на тот свет, или в альтернативный, неизвестно лучший или худший, обычный мир, т. е. меняют профессию, среду, остепеняются, нормализуются. Но попадаются неспособные по той или иной причине приспособиться к обычной жизни. К ним принадлежал и этот старик. За время своей буйной молодости, когда он был пусть не великий авторитет, но и не последний в этой профессии, он не сумел составить себе капитала, на проценты от которого он мог бы жить на старости, не обзавелся семьей, не выучился или душа не лежала ни к какой мирной профессии. Материально он как-то сводил концы с концами, не в этом была главная проблема. Главная проблема была душевная пустота и одиночество. Друзья его молодости либо поумирали, либо остепенились, отделились от прежних дел и не желали себе портить служебные и семейные отношения общением с ним. А молодежи там на воле было неинтересно предаваться с ним воспоминанием о делах минувших, о которых они и так уже все узнали еще в первом классе их уголовной «школы». Их кровь будоражили нынешние дела. И вот он придумал себе где-то раз в месяц устраивать праздник души. За месяц он скапливал немного денег, чтобы купить пол пальца гашиша в подарок зекам и дать взятку полицейским, которые за это пускали его на одну ночь в камеру. О сколь много взяток заплачено на этом свете, чтобы в эту камеру не попасть или пораньше выйти из нее! Но вот бывает, оказывается взятки и за то чтобы отсидеть в ней хоть одну ночь. Отчасти за взятку отчасти из сострадания полицейские пускали его и закрывали глаза и на пронос гашиша и на неприкрытое курение его в камере.

Так вот те самые ребята, которые на воле не хотели тратить время на разговоры с ним, а отчасти даже побаивались падения авторитета от того, что точат лясы с этим бывшим, в тоске тюремной камеры, смягченные и настроенные душевно гашишем, охотно слушали давно и много раз слышанные истории и сами делились недавними и мир, и лад, и романтика юности витали в воздухе и ублажали душу старика. На утро он покидал камеру помолодевшим лет на 10 с глазами, сияющими радостью жизни.

Тюремный учитель

Его звали Лугаси. Точнее это была его фамилия, но так его все называли и имени его я или не помню или вообще не знал. Он был довольно крупным авторитетом и, когда я появился в том отделении, он был там за пахана. Пока я дожидался в коридоре решения начальства, в какую камеру меня сунуть, один из шестерок, занимавшихся уборкой коридора и потому имевших свободу перемещения, доложил Лугаси о моем прибытии и принес мне приглашение поселиться у него в камере. Я согласился. Тюремщики, как правило, не возражают против расселения зэков по камерам по их желанию, т.к. это уменьшает число конфликтов и неприятных для них инцидентов. Не возражали они и на этот раз и так я оказался в одной камере с Лугаси.

Мы были наглядно знакомы с ним еще по предыдущему привилегированному отделению Бен-Ами, из которого я ушел по собственному желанию, публично высказав Бен-Ами все, что о нем думаю; Лугаси же был изгнан оттуда еще раньше меня. Там, однако, мы с ним не разу не общались. Но был у нас общий, с позволения сказать, друг, некто Моня. С позволения сказать, потому что никаких настоящих друзей у этого Мони не было и быть не могло, несмотря на то, что в любой ситуации он быстро обзаводился большим количеством людей, с которыми по видимости был дружен. Попал в число таковых и я и лишь со временем понял, с кем имею дело. Моня был законченный сукин сын и все человеческие отношения и дружбу в частности, рассматривал исключительно с точки зрения выгоды для него. Он был довольно крупный гангстер и мне даже доводилось потом встречать его фамилию в уголовной хронике о русской мафии в Америке. Из Америки он и приехал в Израйль после того, как всадил из-за угла несколько пуль девятого калибра в своего «лучшего друга» и еще более крупного авторитета, но не убил и, вполне логично, опасался расплаты по выздоровлении того. Чтобы не начинать в Израйле все с нуля, Моня прихватил с собой пару килограммов героина. Поскольку иврита он не знал, то воспользовался для сбыта помощью своего дружка по Союзу, уехавшего не в Америку, как он, а в Израиль. Но что-то они не поделили и кто-то из них сдал другого полиции, опасаясь, что его «друг» сделает это раньше него, и надеясь получить меньший срок за признание. В тюрьме каждыи из них клялся, что это его сдали, и обещал при встрече с «другом» свести счеты (как водится в таких случаях их рассадили по разным тюрьмам.).

Как уголовник опытный и уже посидевший Моня знал, что в тюрьме нужно иметь свою компанию, а еще лучше быть или по крайней мере считаться ее главарем и вообще всячески накачивать свой авторитет. Но задача эта для него осложнялась его полным незнанием иврита и тем, что в израйльском уголовном мире его никто не знал и никаких заслуг за ним не числил. Поэтому он вынужден был вербовать себе в «друзья» русскоязычных и поскольку их в том отделении было всего несколько человек, то Моня решил включить в состав своей «банды» и меня, несмотря на мое фраерство. Подъехал он ко мне, разыгрывая карту землячества. Мы, мол, с тобой только двое тут по настоящему из России (хотя точности для оба мы были с Украины). Эти кавказцы они и по русски говорить как следует не умеют и пока ты тут не появился, я чуть не разучился вообще разговаривать. И разве тут кто понимает Высоцкого. Конечно, я замечал деланность и неискренность его «дружбы», но человек – животное социальное, общение ему необходимо и проблема общения была для меня главной в тюрьме. С Моней же нас объединял по крайней мере язык, на котором мы оба свободно изъяснялись, и даже некоторая общая часть культурного багажа. Моня, конечно, университетов не кончал и средней школы тоже – его выгнали из 6-го класса за воровство и дальше его школой была уже сама жизнь, естественно, воровская. Но в широком смысле слова культура это не только высокая поэзия и высшая математика. Анекдоты, скажем, тоже относятся к области культуры и их с равным удовольствием слушают и рассказывают и рафинированные интеллигенты и отпетые уголовники. Русский мат – тоже пласт культуры и довольно богатый. Я, правда, не люблю, когда он

употребляется в неположенном месте. Но когда он звучит, так сказать, на месте, я вполне готов оценить сочность, силу и даже красоту «великого и могучего» в этом его проявлении. Моня же, тот вообще все иностранные языки изучал как в том анекдоте: «Ян, как по польски будет ж…? Дупа? Тоже ничего». И русским матом, естественно, владел виртуозно. Однако и мои познания в этой области были неплохи и иногда, когда мы упражнялись с ним в матерном искусстве, он прерывал меня, говоря: «Повтори, пожалуйста. Это я должен запомнить и взять на вооружение». В общем, пока членство в этой «банде» меня ни к чему не обязывало и выражалось только в общении, пока из Мони не вылезла его подлость, мы поддерживали с ним более менее дружественные отношения без особых компромиссов с совестью с моей стороны.

Большинство других членов «команды» были связаны с Моней не более меня. Но будучи ловким прохиндеем и тертым уголовником, наружу это общение Моня подавал как действительно подчиненную ему команду и поскольку между собой мы разговаривали на русском, которого другие не понимали, то это у него более менее проходило. И опираясь на якобы наличие у него команды, он вел дипломатические разговоры – переговоры с израйльскими калибрами, сидевшими в нашем отделении, в частности с Лугаси, накачивая себе авторитет. Делал он это либо с помощью переводчика, либо на английском, который подучил за несколько лет в Америке. Лугаси тоже немного знал английский, т.к. «гастролировал» в Европе. При этом Моня расхваливал не только свои боевые качества, но и членов своей «команды», мои, надо полагать, тоже, хотя на тот период я их никак в тюрьме еще не проявил. Похоже что Моня и в самом деле вычислил во мне потенциальную боевую единицу. Он, вообще, претендовал на психолога самородка, каковым и был на самом деле, как практически все опытные уголовники – профессия вырабатывает в них это. Показывая мне на кого-нибудь здоровяка с угрожающей мордой, он говорил: «Это фуфло. Достаточно ткнуть его пальцем и из него выйдет воздух». Затем показывал довольно тендитного, хотя и спортивно стройного паренька к тому же с довольно интеллигентной физиономией и говорил: «А вот с этим лучше не вступать в поединок. Это – достойный боец». И дальнейшее показывало, что он, как правило, не ошибался. Так вот однажды он как-то ни к селу, ни к городу вроде сказал мне: «Саша, ты здесь никого не должен бояться. Если дойдет до дела, ты управишься с любым». Я тогда решительно не принял его слов всерьез, хотя и до тюрьмы мне приходилось иногда драться и я знал, что я не последний человек в этом деле. Однако со временем произошли события, которые заставляют меня сейчас думать, что Моня, пожалуй, говорил всерьез.

Что именно Моня говорил обо мне Лугаси, я не знаю, но не сомневаюсь, что чего-нибудь плел. Мне же он на Лугаси выдал положительную характеристику, сказав что Лугаси – хороший, честный парень. Честный, естественно, в терминах и понятиях уголовного мира, в котором воровство и честность нигде не пересекаются.

Вот поэтому- то, когда я получил приглашение Лугаси поселиться в его камере, то во-первых, не очень удивился, а во вторых, охотно согласился. Лугаси, действительно, был пахан особого рода. С одной стороны он великолепно справлялся со своими паханскими обязанностями и никто из его вассалов никогда не пытался восстать на него или всерьез перечить ему. С другой, он нисколько не держался за свое паханство и тем более не рвался к нему. Он брал его лишь тогда, когда оно само сваливалось ему в руки, когда в отделении или камере не было не только более крупного чем он авторитета, но и примерно равного ему. А если появлялся сколь-нибудь близкий ему по уровню и претендовал на паханство, Лугаси с легкостью уступал ему эту честь. Происходило это не из трусости, а из жизненной позиции. Лугаси и уголовник был не типичный. Он как и Амос был парикмахер и продолжал им оставаться и когда стал крупным авторитетом. Мало того, он был дамский парикмахер, причем первоклассный мастер и жил он не в зачуханной Рамле, а в роскошной приморской Натании и богатые дамочки записывались к нему в очередь и денег он зарабатывал на жизнь свом ремеслом более чем достаточно. Мотивацию же вхождения его в преступную жизнь проясняет такая история.

Благодаря моему образовательному цензу, исключительно высокому по тюремным меркам, и тому, что я наполовину сам себя защищал на процессе, некоторые зэки обращались ко мне с просьбой познакомиться с их делами и я не только оценивал шансы сесть или не сесть, но и указывал слабые места в обвинении и хода защиты и были случаи, когда, послушав меня, зэк настраивал своего адвоката, тот принимал мой совет и это приносило успех. Приходилось мне это делать несколько раз и в камере Лугаси и он с любопытством взирал на эту мою деятельность, пока однажды не предложил мне посмотреть его дело. Он обвинялся в краже со взломом из ювелирного магазина, не то ювелирной фабрики., Любопытно, что украдено было всего несколько колечек – дребедень, мелочь в сравнении с тем, что мог унести человек, совершивший эту кражу столь блистательно, что никакая сигнализация не была потревожена и никакие сторожа ничего не заметили вплоть до того, как на другой день пришли на работу сотрудники. В том, что Лугаси сделал это, у меня не было никакого сомнения, поскольку он в камерных разговорах отрицал это столь вяло и лениво, что лишь едва соблюдал тюремный канон отрицать обвинения до окончания суда. Но дело тем не менее было дырявым, бездоказательным и рассыпалось от любого толчка как карточный домик. И только исключительно бездарный адвокат, которому Лугаси платил немалые деньги, не мог использовать слабость обвинения. Все это Лугаси выслушал с ленивым любопытством, не проявив тени того энтузиазма, которого можно было бы ожидать от человека, которому предложили простой способ избегнуть отсидки. Вместо Лугаси завелся я: «Послушай, ты что не понимаешь что я тебе говорю? Настрополи своего адвоката, чтобы он сделал то, то и то и ты выйдешь на суде на свободу. Или разгони к черту этого идиота и возьми другого. Или, наконец, защищай сам себя, как я, а я тебя буду консультировать.» – «А – сказал Лугаси с выражением лени и скуки – не хочу». —«Как, ты что идиот? Сидеть в тюрьме, когда можно освободиться?» – «Да сколько сидеть? Максимум дадут мне два года, а я уже год сижу» – «Ну а еще год или около того, это что до фени?» – «А – махнул он рукой – не люблю я этих судебных разбирательств».

Я тогда ничего не понял. Но позже он мне выдал такую тираду: «Понимаешь, настоящий мужчина должен время от времени садиться в тюрьму. Ну не на долго, на годик на два. Вот я стригу этих чертовых кукол и веду с ними разговоры – Вам лучше закрыть лобик челкой, а шейку немного открыть. А вам пойдет завивка мелкими колечками. – И чувствую, что сам становлюсь бабой».

На первый взгляд может показаться, что Лугаси волновало то же, что и Амоса, т.е. как он выглядит в глазах других людей, стремление казаться настоящим мужчиной, крутым и т. д. Но для этого не нужно было садиться в тюрьму время от времени, достаточно было один раз. Тем более, что Лугаси не использовал тюремного ристалища для продвижения по уголовной иерархической лестнице, не рвался в паханы, а имея паханство, легко уступал его. Лугаси волновал вопрос, кем быть, а не кем казаться или считаться. Он был по натуре человеком мягким и добрым. Но он считал, что чрезмерная мягкость превращает мужчину в размазню и он не хотел бать размазней. Конечно, есть и другие пути помимо уголовного для достижения этой цели, да и саму цель можно оспорить: нужно ли истреблять в себе доброту и мягкость, если они даны тебе природой, и означают ли обязательно доброта и мягкость в мужчине, что он размазня. Но я вовсе не пытаюсь представить Лугаси или еще кого из уголовной братии за идеал. Но много ли есть идеальных людей за пределами тюрьмы?

Добившись своей цели и выстроив, воспитав себя так, как сам того хотел, он в глубине души оставался все тем же мягким и добрым и, испытывая сродство душ к себе подобным, пытался помочь тем из них, кто попадал в тюрьму, еще не научившись быть достаточно жестким. Тюремная среда такое неумение наказывает автоматически. Независимо от того, что Моня говорил Лугаси обо мне, он еще в предыдущем отделении вычислил во мне такого человека и это и была причина, по которой он пригласил меня в свою камеру.

Главную мою слабость Лугаси видел в том, что я не дерусь. На тот период у меня, действительно, не было в активе ни одной тюремной драки. Правда, как я сказал, до тюрьмы мне приходилось драться будучи взрослым (в детстве само собой) и не так уж мало для кандидата или доктора наук и достаточно успешно. Но Лугаси этого не знал и пытался меня раскрепостить в этом отношении, чтобы я с большей легкостью и без излишних колебаний пускал в ход кулаки.

Делал он это не с помощью внушений, а пытался стравить меня со своим дружком, который сидел в той же камере. Это был здоровый увалень, флегматичный добряк, страдающий, по мнению Лугаси, тем же недостатком жесткости и агрессивности. Он был обыкновенный слесарь со своим делом – мастерской и даже сидя в тюрьме он бредил этим делом. Но он жил в шпанистом районе, и имея таких друзей как Лугаси, он где-то как-то влип, полагаю, одноразово. Лугаси подобрал его тоже в опекаемые и руководимые.

Лугаси потратил много усилий и времени на наше стравливание и ему вообще это не удалось бы, если бы я своевременно догадался о его намерении. Но он был достаточно искусный манипулятор и в конце концов добился того, что слесарь – человек простой и относительно легко внушаемый – начал драку, после чего уже и мне не оставалось ничего другого. Дрались мы долго и уныло, вяло тыкая друг другу кулаками в физиономии, пока не устали и не плюнули. Лугаси, весьма активно наблюдавший за дракой и подзуживавший противников, тоже плюнул недовольный результатом.

Не знаю как слесарь, может это был потолок его возможностей, но у меня просто не было зла, не было мотивации осознанной или эмоциональной. Я, хоть и не догадался еще о роли Лугаси, но подспудно чувствовал подвох, а главное противник мой вовсе не был негодяем, на которого я имел бы злобу по идее и по природе. И вообще, отдавая должное благим намерениям Лугаси, я должен сказать, что он здорово ошибался в моем диагнозе и прописанном лечении. И дело не только в том, что, вопреки его мнению, я вовсе не был абсолютным пацифистом и чистоплюем. Важнее, что уязвимость, особенно в тюрьме, того типа людей, к которому не совсем верно относил меня Лугаси, состоит не только и не столько в том, что они не дерутся. В дальнейшем, когда по моим, а не по лугасиным понятиям обстоятельства стали складываться так, что я должен был драться, я дрался, дрался много, дрался решительно, зло и почти всегда успешно. Была только одна драка за время моей отсидки, которую, я считаю, проиграл и то по очкам. И то потому, что мы не додрались, нас разняли тюремщики.

Дрался я тогда с молодым, но весьма опытным уголовником, сидевшим по четвертому разу, среднего масштаба авторитетом. О его опытности свидетельствует такой факт. Как-то он чего-то требовал от начальства, а ему упорно не давали. Он перерезал себе вену, но не на запястье, а в локтевом сгибе и согнув руку в локте, зажал порез так, что кровь не бежала. Кто-то из шестер по его указу побежал к тюремщикам и сообщил, что Эли перерезал себе вену и требует того сего. Прибежали тюремщики, видят, стоит Эли, никакой крови не видно. Один подходит к нему и с издевкой говорит: «Ну, где же твоя порезанная вена?». – «На» – говорит Эли, разгибает руку и направляет фонтан крови прямо в физиономию скептику. Эффект был такой сильный, что он добился своего.

Мы с ним столкнулись на том, что он как раз в то время рвался в паханы отделения на освободившееся место в связи с отсутствием более крупных авторитетов, а я этого не заметил и обидел его, не отдав ему прилюдно почестей, которые, как он считал, ему теперь полагались (хотя раньше мы были на равных и более менее дружественны). Он не только начал драку и нанес неожиданно первый удар, но предварительно тщательно подготовился, действовал не сразу после обиды, о которой я и не подозревал. У него была свинчатка в кулаке, поэтому удар получился страшной силы. От него у меня треснула верхняя челюсть (и долго потом заживала) и обильно пошла кровь из носа. Очки улетели, в глазах потемнело. И, тем не менее,

к моменту, когда прибежали тюремщики, я успел выровнять положение и, если бы нас не разняли, я, думаю, все-таки управился бы с ним.

Но несмотря на мой впечатляющий «рекорд» по дракам в тюрьме, я продолжал сидеть тяжело. Мелкая бесовщина не переставая жалила меня исподтишка. В то время как самого Лугаси за время нашего общения я не разу не видел в деле, в драке, а сидел он не просто легко, а прямо таки как рыба в воде плавал в этой тюремной среде. Дело в том, что помимо мордобоя есть еще много приемов и умений, чтобы вживаться в тюремную среду, и, кстати, не только в тюремную. Сам Лугаси великолепно, прямо таки виртуозно владел арсеналом этих средств. Чтобы понятней было, о чем я говорю, расскажу такую историю.

В нашем отделении сидел некто Ури Софер. Газеты много и давно о нем писали и, согласно этим писаниям, он входил в десятку крупнейших авторитетов в стране. Сидел он по делу об израйльском ограблении века, случившегося года за три до этого в Иерусалиме. Грабанули главный банк страны, причем сделано это было со всеми прибамбасами великого ограбления: подкопом, усыплением сторожей, отключением сигнализации, которую невозможно было отключить, не зная секретных кодов, а они менялись каждый день и т. д. и т. п. Подозрение сразу пало на Софера и двух его друзей, которые по данным полиции считались главными специалистами по банкам, хотя ни разу до этого не попадались. Полиция поторопилась арестовать их, но не могла собрать доказательств для выдвижения обвинения. Их отпустили, но оперативная разработка продолжалась. Через два года нашли кого-то, кто готов был дать показания против них. Их снова арестовали и на сей раз завели дело и отправили в тюрьму до суда. Но, несмотря на наличие свидетеля, которого, кстати, берегли как зеницу ока, обвинение не выглядело достаточно убедительным. То ли свидетель был по каким-то косвенным вещам, которые еще не вязали их на прямую с ограблением, то ли он выглядел сам не надежно. Насколько помню, он был уголовник и защита выдвигала версию, что полиция принудила его дать эти показания в обмен на то, что закрыла глаза на его собственные делишки. Во всяком случае троица играла в несознанку. Ури же Софер, который считался мозгом операции, а в миру был легальным бизнесменом, не просто играл в несознанку, но и всячески изображал, что у него вообще ничего нет и не может быть общего с этой уголовщиной, в среде которой он по злой и не справедливой воле судьбы теперь должен находиться.

Эту игру было очень интересно наблюдать. Дело в том, что вся страна, наученная газетчиками, считала Софера главным уголовным мозгом Израйля, но поскольку газетчикам в демократической стране никто до конца не верит, то никто не был вполне уверен и в этом. А вот уголовная среда, которая газет, как правило, не читает, но имеет свои каналы распространения информации, знала без всяких сомнений, кто такой Ури Софер. Конечно, его игра поддерживалась всеми. Она поддерживалась бы даже если бы он не был таким крупным авторитетом, ибо по понятиям уголовников сдавать своих хотя бы косвенно, хотя бы не поддерживая их игру – самый страшный грех. Но по тому, какие подобострастные взгляды бросали на него исподтишка шестеры, неспособные даже при желании подавить свой инстинкт раболепия, по тому как располагались они вокруг сидящего во дворе во время прогулки Софера на примерно равном расстоянии, образуя некий лимб, можно было бы вычислить его даже на фотографии тюремного двора.

Не знаю, понимал ли сам Софер это, но когда я появился в этом отделении, он сообразил, какую возможность даю я ему в его игре. Вот он – порядочный культурный человек – сидит в тюрьме, страдая от одиночества, но не находя никакого общего языка со средой, а вот появляется здесь другой культурный человек. Ну, там посаженный по обвинению в убийстве, но в драке, это бывает, это не при ограблении. Да и утверждает, что это самозащита. И, наконец, на нем ярлык, что он интеллигент – докторская степень. Ну и, естественно, два порядочных не уголовных человека, сидящих в тяжелой уголовной тюрьме, не могут не найти общий язык. И на одной из первых моих прогулок в этом отделении Софер нашел приличный пред-

лог, чтобы завязать со мной беседу. Я не имел ничего против общения с ним. Как я сказал, человек нуждается в общении, и с кем же общаться в тяжелой уголовной тюрьме, если не с уголовниками. А если человек хотя бы претендует на то, что он интеллигент, и держит себя корректно и вежливо, да еще есть основания предполагать в нем незаурядную личность, то почему не пообщаться. Но общения не получилось. Слишком разные у нас были культурные фоны, не было даже той общей части, что с Моней. Софер был урожденный израильтянин, сефард, а его отношение к культуре в моем понимании ограничивалось умением себя корректно и вежливо держать и даже в тюрьме аккуратно одеваться. Конечно, я с удовольствием послушал бы о том, как он спланировал и осуществил ограбление, но как раз на эту тему он не склонен был распространяться, а я понимал, что не могу его об этом расспрашивать. В общем, беседы наши завяли сами собой и через пару прогулок мы их прекратили.

Но все это преамбула. История же сама такая. В рамльской тюрьме зэкам разрешается играть на прогулочном дворе в футбол и баскетбол. Конечно, никаких футбольных ворот там нет, их заменяют две пары расставленных ботинок, баскетбольные же щиты с кольцами были. Нельзя сказать, что зэки фанатировали этими играми. Иногда накатывало увлечение и какую-то неделю играли каждый день, потом недели две вообще не играли. Ури Софер, играя свою игру, старался в этих играх не участвовать. Но иногда все же не выдерживал, хотелось размяться, и в футбол он изредка играл. Играл он довольно неплохо и по этой ли причине, а скорей все же по причине своего скрываемого уголовного калибра, если уж он играл, то обязательно был капитаном своей команды. Масштаб его уголовного авторитета ощущался в игре еще сильнее, чем когда он индиферентно сидел под стеночкой. Футбол – игра достаточно силовая и, даже когда играют нормальные футболисты, а не уголовники, и даже когда игра корректна и с соблюдением правил, что тоже не часто бывает, то все равно футболисты отчаянно отталкивают один другого в борьбе за мяч. Легко себе представить, что когда играют уголовники, то игра бывает гораздо жестче и правила нарушаются гораздо чаще и, замечу, искуснее, профессиональнее. Как ни как играют специалисты не по футболу, а как раз по нарушению общепринятых норм. Мне, например, однажды при игре в баскетбол так сунули локтем под ребра, нечаянно якобы, что боль в этом месте я и сейчас иногда ощущаю (наверное, была трещина). Но когда играл Софер, то вокруг него было как бы невидимое силовое поле, никто из соперников не прикасался к нему.

И вот однажды была игра, в которой в команде против Софера играл Лугаси и тоже, естественно, капитаном. Лугаси был невысок ростом, но типичный качок весь пузыряшийся мускулами. Софер был немного выше его, но худощав, угловат, по видимости уступал в силе Лугаси. Правда, за его угловатостью чувствовалась железная конструкция, так что кто его знает, кто из них был на самом деле сильней. Но в борьбе за мяч, как мы знаем из физики, большую роль играет не сила, а масса и тут Лугаси превосходил. И вот то ли забывшись, то ли справедливо полагая, что нелепо избегать силовой игры, поскольку этим разрушается игра самого Софера и становится видно его авторитетство, Лугаси разок хорошо толканул Софера, так что тот отлетел. Все было, кстати, в пределах правил и Софер отнюдь не упал.

Казалось бы, ну что тут такого? Я помню уже в тюрьме-тюрьме, а не в досудебном отделении, сидел с нами один араб – знатный каратист, черный пояс, какой-то дан и чемпион чего-то там. К тому же он был паханом арабской половины нашего отделения. И мы иногда играли в баскетбол в противоборствующих командах и пихались отчаянно. Мы были примерно равны по силе и массе и, хотя в драке против него у меня не было бы никаких шансов, но в силовой борьбе за мяч я не уступал ему и он отлетал столь же часто, как и я. Так он не только не обижался, но когда затевал игру, всегда разыскивал меня, чтобы я играл против него, поскольку другие боялись с ним сталкиваться, а ему была интересна не столько сама игра (баскетболист он был неважный), сколь потолкаться с достойным противником, разогнать тюремную одурь.

Но Софер был совершенно другой тип. Под внешней сдержанностью, корректностью скрывался человек жесткий, властный и необычайно амбициозный. И этот толчок на мгновение извлек его настоящего из носимой им личины. Он резко повернулся, в глазах его сверкнули молнии бешенства и он бросил Лугаси: «Ты, маньяк, ты что делаешь?». В воздухе повисла наэлектризованная тишина. Все понимали, что калибр такого масштаба, как Лугаси, не может съесть «маньяка», брошенного прилюдно, от кого бы то ни было. Но Лугаси выдал на своих круглых мордасах совершенно невинную улыбочку и сказал: «Ну, извини, я не хотел. Если хочешь, бей штрафной». Софер к этому времени успел очухаться, сообразить, что вышел из роли и также сделал вид, что ничего не произошло.

А по окончании прогулки в камере Лугаси поучал меня: «Вот видишь, если бы ты был на моем месте, ты или полез бы на амбразуру и плохо кончил, или замучил бы себя потом сомнениями в себе. А вот я, когда надо, могу слопать „маньяка“, как обписать два пальца, и это нисколько на меня не повлияет». И вечером того же дня он доказал и мне и всем прочим, насколь это на него действительно не повлияло.

По вечерам после ужина нам разрешали смотреть часика полтора телевизор в той же столовой прежде, чем рассовать опять по камерам. У уголовников есть свои предпочтительности в телевизионных передачах. Есть они и у всех прочих. Но у прочих они варьируются от человека к человеку. У уголовников спектр предпочтительности узок. Все они любят детективы, где много экшн. Я помню уже в тюрьме-тюрьме, где состав был гораздо более крупнокалиберный, чем в тюрьме до суда, когда должен был идти фильм об ограблении банка, места в зале, то бишь в столовой, были заполнены все за час до начала. В первых двух рядах с местами бронированными для крупных калибров произошли необычные перестановки и несколько специалистов по ограблению банков, уступающих по калибру хозяевам бронированных мест, были туда специально допущены. Зато фильм шел в сопровождении высоко профессионального комментария: «Дурак! Как он отключает эту систему сигнализации. Я это делаю так.». «Идиот, он что собирается автогеном резать сейф фирмы „Сникерс“?» А новости, политические комментарии, научпоповские фильмы уголовники дружно не любят. А уж если кто-нибудь включит и оставит программе с симфоническим оркестром или оперой, его могут просто побить

В тот вечер шел какой-то детектив. Вдруг Лугаси, который сидел в первом ряду, задрав ноги на спинку специально поставленного перед собой стула, встал, подошел к телевизору и переключил его на какую-то нудьгу про советский лунный трактор или еще что-то в этом роде. В зале раздался дружный вой и улюлюканье. Замечу для точности, что Софер во имя своей игры телевизор вместе со всеми не смотрел, а других крупных калибров в то время в нашем отделении не было. Лугаси встал еще раз, повернулся к залу и сказал, вернее исполнил с великолепно блатными растяжками, гнусавостью и невнятными окончаниями: «Ну-у, кто недоволе..?» И все заткнулись.

Этот приемчик называется на израйльском блатном жаргоне «ециа». В дословном переводе означает «выход». Но как и в русском языке «выход» может употребляться в смысле выхода артиста на сцену, выступления, так и блатное «ециа» означает выступление в строго определенном жанре. Выступление, цель которого подавить противника, размазать его по стенке не прикладая рук. Текст выступления не играет большой роли, главное исполнение. Лугаси исполнял великолепно. Можно сказать в нем пропадал великий актер. Актер посредственный воспользовался бы при этом аксессуарами: украсил бы себя какими- нибудь железяками, в руке держал бы нож или хотя бы ножку от стула. На Лугаси и в руках его не было ничего. Но завороженный зритель видел блатной окурок прилипший к противно отквашенной нижней губе, видел цепер в небрежно свисающей правой руке его и осколок бутылочного стекла в полусогнутой левой. Вот что значит хорошее «ециа». Большой авторитет – это не только сила мужество и умение драться, это еще много других качеств, включая харизму, психологию и артистизм не в последнюю очередь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.